ПО ТУ СТОРОНУ ЯВИ
НИТЬ МАКОШИ

ВАРОВ ДАНИИЛ

Даниил Варов

По ту сторону Яви: Нить Макоши

«Автор»
2025

Варов Д. Q.

По ту сторону Яви: Нить Макоши / Д. Q. Варов — «Автор», 2025

Для охотника Остапа мир Яви был прост и понятен: есть семья, есть лес, есть малый Покон. Главное — всегда возвращаться домой к жене Милане и дочери Аленке. Но однажды, отправившись за добычей к легендарному Тихому Омуту, он находит свой конец в один миг.Смерть не приносит ему покоя. Его сознание, застрявшее в холодной Нави, стало призраком, изгнанным в изнанку мира, где тени обретают форму, а боль не утихает.

© Варов Д. Q., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Глава 1. Глиняный кувшин 5
Глава 2. Тихий омут 9
Глава 3. Дыхание Змея 13
Глава 4. Изнанка Мира 16
Глава 5. Песни Забытых 19
Глава 6. Око Велеса 23
Глава 7. Три дня, три нити 27
Глава 8. Сердце Зверя 31
Глава 9. Корни и Тишина 34
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Даниил Варов
По ту сторону Яви: Нить Макоши

Глава 1. Глиняный кувшин

Воздух в утреннем лесу был густым и влажным, он пах прелой листвой, грибницей и обещанием близкого дождя. Я вдыхал его полной грудью, и он наполнял меня силой, простой и понятной, как рукоять моего охотничьего ножа, истертая до блеска ладонью. Каждый шорох, каждый скрип ветки был для меня понятным языком, которому меня учил еще отец, а его – его отец. Это был язык Яви, мира плотного, осязаемого, где есть вес у камня и острота у кремня. Я ступал по этому миру уверенно, зная свои тропы, свои приметы, свой Покон – не тот, о котором шепчутся волхвы, глядя на звезды, а свой, малый: не бери у леса лишнего, чти зверя, которого догнал, и всегда возвращайся домой до заката.

Мысли о доме грели лучше любого костра. Милана. Ее имя звучало, как тихий звон ручья. Я видел ее перед внутренним взором – склонившуюся над шитьем, с прядью русых волос, выбившейся из косы. Видел, как она хмурит брови, когда сосредоточена, и как уголки ее губ тут же взлетают вверх, стоит мне войти в избу. И Аленка, дочка наша, солнышко мое кареглазое. Ее смех – это все колокольчики мира, собранные воедино. Перед уходом она вцепилась мне в ногу и не отпускала, смешно надув губы: «Тато, а принеси мне камушек, гладкий-гладкий, как водичка!» Я пообещал. Я всегда держал обещания.

Сегодня лес был странно тих. Птицы, обычно заливавшиеся трелями на все голоса, примолкли. Даже дятел, неутомимый труженик, не стучал свою дробь. Лишь ветер шелестел в вершинах сосен, и этот шелест походил на старческий шепот, предостерегающий и тревожный. Я отмахнулся от дурного предчувствия. Лес – он живой, у него тоже бывает настроение. Может, хмурится перед дождем. Я поправил на плече лук, проверил натяжение тетивы и двинулся дальше, к старому кабаньему лазу у оврага. Мясо в доме подходило к концу, а зима хоть и далеко, но о запасах думать никогда не рано.

Я шел, и мир вокруг меня жил своей обычной, плотной жизнью. Паук сплел свою сеть между двумя ветками орешника, и утренняя роса превратила ее в ожерелье из крохотных жемчужин. Под ногой хрустнула сухая ветка. Из-под куста можжевельника шарахнулся заяц, мелькнув белым подхвостьем. Все было на своих местах, все подчинялось вековечному порядку. Это и было мое счастье, моя вера – в этот порядок, в эту прочность. В то, что солнце встанет утром, что жена дождется вечером, а дочь будет смеяться, перебирая принесенные мной из леса сокровища – гладкие камушки, птичьи перья, причудливые корни.

Кабана я учуял раньше, чем увидел. Тяжелый, мускусный запах ударил в ноздри. Зверь был крупный, секач-одинец, судя по всему. Я замер за толстым стволом дуба, сливаясь с ним, становясь частью дерева, частью леса. Сердце забилось ровно и мощно, гоня по жилам охотничий азарт. Вот он, миг, ради которого я здесь. Поединок, где решает не только сила, но и хитрость, терпение, знание. Я медленно, без единого звука, поднял лук, наложил стрелу. Секач рыл землю клыками у края оврага, выискивая сочные коренья. Огромный, щетинистый, воплощение дикой, первобытной мощи.

Я натянул тетиву, целясь под лопатку. Ветер замер. Мир сузился до кончика моей стрелы и темного бока зверя. Сейчас…

И в этот самый миг земля ушла у меня из-под ног. Не качнулась, не содрогнулась – просто исчезла. Край оврага, подмытый недавними ливнями и изрытый кабаном, обвалился с глухим, утробным вздохом. Я не успел ни вскрикнуть, ни отпрыгнуть. Последнее, что я ощутил в мире

Яви – это острая, нестерпимая боль в ноге, зажатой между упавшим стволом старой березы и камнями, и резкий, сокрушительный удар головой о что-то твердое, скрытое в сырой земле.

Тьма, нахлынувшая на меня, была не черной, а багровой, пронизанной вспышками света, похожими на искры от удара кремня о кресало. Боль была всепоглощающей, она была самим миром. А потом… потом она стала стихать. Не уходить, а именно истончаться, словно тающий на солнце лед. Вместе с ней уходила тяжесть тела, холод сырой земли, запах крови и глины.

Я открыл глаза.

И увидел себя.

Мое тело лежало на дне оврага в неестественной позе. Нога, зажатая под стволом, была вывернута под жутким углом. Голова запрокинута, из разбитого виска по грязи растекалась темная лужа. Глаза были полуоткрыты и смотрели в серое, равнодушное небо с тем же бессмысленным выражением, с каким смотрит на мир битый глиняный кувшин. Кувшин, из которого вытекла вся вода.

Я стоял рядом. Не «я», а нечто, что сохранило мое сознание, мои воспоминания. Я был легким, почти невесомым, сотканным из сероватой дымки, сквозь которую смутно проступали очертания леса. Я протянул руку – свою призрачную, полупрозрачную руку – к лицу своего тела, но пальцы прошли сквозь щеку, не ощутив ни тепла, ни холода, ни щетины. Я не дышал. Мое сердце не билось. Но я был.

«Это сон, – пронеслось в моей голове. – Дурной сон. Я ударился головой и сейчас очнусь».

Но я не очнулся. Лес вокруг изменился. Он был тем же, и не тем. Цвета поблекли, стали глухими, словно смотришь на мир сквозь мутную воду. Зелень мха казалась седой, кора деревьев – пепельной. Звуки тоже стали иными: шелест листьев звучал как пересыпаемый песок, а далекий крик птицы – как стон. Я видел то, чего не видел раньше. Я видел, как по стволам деревьев течет бледная, фосфоресцирующая сила, похожая на сок, но не сок. Я видел, как из-под земли поднимаются едва заметные испарения, сплетающиеся в причудливые, вечно меняющиеся узоры. Это была изнанка мира. Его душа. Навь.

Страх, холодный и липкий, какого я не испытывал даже перед разъяренным медведем, начал просачиваться в мое новое существо. Страх не перед смертью – она уже случилась, вот же она, лежит в овраге с разбитой головой – а перед неизвестностью. Что я такое? Где я? Что будет дальше? Я попытался закричать, позвать на помощь, но из моего призрачного рта не вырвалось ни звука. Мой крик был безмолвной судорогой пустоты.

Я стоял над своим мертвым телом, и время, казалось, остановилось. Прошел час, или день, или мгновение – я не знал. Для меня, для этой дымки, которой я стал, времени больше не существовало в его привычном, человеческом смысле. Я смотрел на свое остывающее тело, на лук, лежавший рядом, на стрелу, так и не сорвавшуюся с тетивы. И тоска, безмерная, как осеннее небо, начала затапливать меня. Тоска по теплу. По весу собственного тела. По вкусу хлеба. По прикосновению руки Миланы.

Милана.

Эта мысль, это имя, стало якорем, единственной точкой опоры в этом сером, беззвучном мире. Она ждет. Она поставит ужин на стол, будет смотреть на дверь. Аленка будет спрашивать: «Где тато?». И этот образ, это знание о их ожидании, причиняло боль куда более страшную, чем та, что оборвала мою жизнь. Это была боль души, разорванной надвое. Одна половина осталась там, в избе, с ними. Другая – застряла здесь, в этой холодной, безмолвной Нави.

Неведомая сила потянула меня. Не ветер, не поток – а нечто внутреннее, непреодолимое желание, ставшее движением. Я поплыл над землей, сквозь ветви, которые больше не были для меня преградой. Я двигался не ногами, а волей, устремленной к дому. Лес провожал меня молчаливым, равнодушным взглядом своих невидимых глаз. Мне казалось, я чувствую их на себе – тяжелые, древние взгляды тех, кто всегда был здесь, по ту сторону коры и листвы. Духи

леса, которых я раньше лишь смутно почитал, теперь были почти осязаемой реальностью, но они не обращали на меня внимания. Я был для них не более чем опавшим листом, подхваченным ветром.

Вот и опушка. Наше поле, засеянное рожью. Колосья стояли серыми призраками, и я видел не их самих, а их жизненную силу, тускло мерцавшую в каждом стебле. А вот и наша изба. Дым из трубы не поднимался к небу, а стелился по земле серой, вязкой змеей. Я прошел сквозь стену, как прошел бы сквозь туман.

Милана сидела за столом. Она не шила. Ее руки безвольно лежали на коленях, а взгляд был устремлен в одну точку – на дверь. На ее лице застыло выражение тревожного ожидания. Котелок с кашей стоял на остывающей печи. Аленка спала в своей колыбели, свернувшись калачиком. В избе было тихо, но эта тишина давила, звенела в ушах. Моих призрачных ушах.

– Милана… – прошептал я, но слова были лишь дрожью воздуха, которую никто не мог услышать.

Я подошел к ней, так близко, что мог бы коснуться, если бы у меня были руки. Я видел каждую морщинку у ее глаз, каждую ресничку. Я впитывал ее образ, пытаясь запомнить, запечатать в своей новой, призрачной памяти. Я хотел обнять ее, успокоить, сказать, что все хорошо, но я был ничем. Пустотой. Наблюдателем собственной трагедии.

Она вдруг вздрогнула, повела плечами, словно от холода. Посмотрела по сторонам.

– Остап? – тихо позвала она.

Мое имя из ее уст пронзило меня, как раскаленная игла. Я здесь! Я рядом! Посмотри! Но она лишь плотнее закуталась в шаль и снова уставилась на дверь. Она почувствовала. Не увидела, не услышала – почувствовала холод моего присутствия. Холод Нави. Холод смерти.

Я метался по избе, бестелесная тень, сгусток отчаяния. Я кружил над колыбелью Аленки, пытаясь коснуться ее теплой щечки, но мои пальцы проходили насквозь. Я видел ее сон – яркий, цветной островок мира Яви посреди моего серого безмолвия. Ей снились бабочки и солнечные зайчики. И от этого контраста моя боль становилась почти физической.

Солнце село. Не для меня – в моем мире не было ни дня, ни ночи, лишь вечные серые сумерки. Но я видел, как мир за стенами избы погрузился во тьму, и Милана зажгла лучину. Пламя было странным – не оранжевым, а почти белым, пульсирующим сгустком света, отбрасывающим живые, пляшущие тени. В этих тенях мне чудились чьи-то силуэты, они сгущались в углах, за печкой, под лавкой. Другие. Такие же, как я? Или нечто иное? Я не решался вглядываться, страшась увидеть то, к чему мое сознание простого охотника не было готово.

Милана так и не легла спать. Она сидела у окна, вглядываясь в темноту, и по ее щекам медленно катились слезы. Каждая слеза обжигала меня. Я был причиной ее горя, и я был бессилен его унять. В этом и заключался мой новый, персональный ад. Видеть тех, кого любишь, страдать из-за тебя, и не иметь возможности даже подать знак, что ты все еще здесь.

Утром пришли соседи. Старый Прохор, с которым мы не раз ходили на медведя. Его жена Марфа, которая принимала у Миланы роды. Их встревоженные голоса были для меня глухими, как удары по мокрой земле.

– Не вернулся? – спросил Прохор, и в его голосе было то, чего я боялся больше всего. Не надежда. Сочувствие.

Милана лишь молча покачала головой. Ее лицо за одну ночь осунулось, постарело.

– Я соберу мужиков, – решительно сказал Прохор. – Пойдем искать. Лес большой, всякое бывает. Может, ногу подвернул, сидит где, ждет помощи.

Надежда. Жестокое, лживое слово. Я хотел закричать им: «Не ищите! Я здесь! Вернее, там, в овраге! Не терзайте ее понапрасну!», но я был лишь безмолвным зрителем.

Они ушли. А я остался. Я не мог оторваться от Миланы и Аленки. Моя любовь, моя тоска держали меня здесь крепче любых цепей. Я наблюдал, как Милана механически кормит

проснувшуюся дочку, как та, ничего не понимая, тянет ручки к двери и лепечет: «Тато?». И Милана, не выдержав, роняет голову на стол и беззвучно плачет, сотрясаясь всем телом.

А я… я стоял рядом и тоже плакал. Без слез. Без звука. Плакал всей своей бесплотной сущностью, и от этого плача, казалось, мир вокруг меня становился еще серее и холоднее. Это было не просто горе. Это было разрушение. Разрушение Остапа-охотника, Остапа-мужа, Остапа-отца. Я рассыпался на воспоминания, на боль, на бессилие. Я переставал быть личностью и становился чистым страданием.

К вечеру они вернулись. Мужчины шли молча, понурив головы. Прохор и еще двое несли что-то на πρόспешно сколоченных носилках из веток, прикрытое рогожей. Я знал, что там.

Милана вышла на крыльцо. Она все поняла по их лицам. Она не закричала. Она просто смотрела, как они опускают носилки на землю. Прохор отвел край рогожи.

И тогда она закричала.

Этот крик не был человеческим. Это был вопль раненой волчицы, потерявшей все. Он ударил по миру Яви, заставив вздрогнуть даже суровых охотников. Но он ударил и по Нави. Для меня этот звук был видимым. Он вырвался из ее горла ослепительной вспышкой боли, которая прокатилась по изнанке мира, заставив серую дымку вокруг меня всколыхнуться и задрожать. Тени в углах метнулись прочь. Сила, дремавшая в земле, содрогнулась.

Этот крик был таким мощным, что на миг порвал пелену между мирами. В ослепительной вспышке ее горя я увидел все иначе. Я увидел нити, тонкие, серебристые, что связывали все живое. Я увидел нить, тянувшуюся от моего мертвого тела ко мне, и еще две, более яркие, сияющие – они вели от меня к Милане и Аленке. Я увидел, как от ее крика нить, связывающая ее со мной, натянулась до предела и зазвенела, как струна, готовая вот-вот лопнуть.

И я увидел Его. Или То.

В самой глубине Нави, в ее бездонной, немыслимой серости, что-то шевельнулось. Что-то огромное, древнее, как сам мир. Оно не имело формы, но у него были глаза. Тысячи глаз, похожих на холодные, немигающие звезды. И все они смотрели на меня. Оно заметило меня из-за этого крика, из-за этой вспышки боли, что пронзила миры. Оно ощутило мою разорванную душу, мою связь с миром живых, и его нечеловеческое, непостижимое внимание медленно, неотвратимо, как движение ледника, повернулось в мою сторону.

Страх, который я испытал до этого, был детским лепетом по сравнению с этим вселенским ужасом. Я понял, что до этого момента был просто потерявшимся эхом. Теперь же меня заметили. Заметил тот, кто правит этим безмолвным миром. И я понял, что мое путешествие – мое истинное, жуткое путешествие – только начинается. Моя смерть была лишь падением камня в темные воды. А теперь из глубины на круги, разошедшиеся по воде, поднималось нечто, привлеченное всплеском.

Я оторвал взгляд от этой бездны и посмотрел на свой дом. На свою жену, рыдающую над моим телом. На свою дочь, испуганно плачущую на крыльце. Мой старый мир, мир Яви, рушился, сгорал в огне их горя. А мой новый мир, мир Нави, только-только показывал мне свое истинное, безразличное и чудовищное лицо. Я застрял между ними, бесплотный дух, глиняный кувшин, разбитый на тысячу осколков, из которого вытекла вся жизнь, оставив лишь холодную, звенящую пустоту. И я не знал, что страшнее: вечно смотреть на страдания тех, кого я покинул, или обернуться и пойти навстречу тому, что смотрело на меня из тьмы.

Глава 2. Тихий омут

Тишина в моей избе стала плотной, как войлок, пропитанный слезами. Она давила на меня, бесплотного, сильнее, чем давила бы на живого, ибо для меня не осталось ни скрипа половиц, ни вздоха ветра в трубе, лишь гулкая пустота, в которой эхом отдавался каждый удар сердца Миланы, каждый сбившийся вдох Алёнки. Они сидели у моего остывающего тела, положенного на лавку под образами, и их горе было единственным, что еще имело цвет и тепло в моем сером, выцветшем мире. Тот крик моей жены, прорвавший завесу между Явью и Навью, не утих. Он продолжал звенеть где-то на самой границе моего нового восприятия, тонкой, натянутой струной, вибрирующей от каждого ее рыдания. И на этот звон откликнулось Нечто.

Я не видел его, но чувствовал, как чувствует мышь взгляд удава из темноты. Это было давление, холод, заполнивший изнанку мира вокруг меня. Словно на дне бездонного озера кто-то огромный, дремавший тысячелетия, медленно приоткрыл один глаз. И этот глаз смотрел прямо на меня. Взгляд этот был не враждебным, не любопытным – он был подобен взгляду мельника на зерно. Он оценивал, взвешивал, решал, гожусь ли я в жернова. И этот безмолвный, тяжелый взгляд потянул за собой нить воспоминания. Он хотел знать, как я здесь очутился. Он заставил меня вернуться в тот последний день, когда я еще дышал, чувствовал и ошибался.

Память нахлынула не как тихая река, а как мутный, ледяной поток, сбивающий с ног.

…Утро того дня пахло смолой и прелым листом. Солнце, еще сонное, лениво цеплялось лучами за верхушки сосен, а в низинах лежал туман, густой, как скисшее молоко. Я проверял тетиву на своем тисовом луке, палец привычно скользил по гладкому дереву. Милана вынесла мне узелок с хлебом и куском вяленого мяса, ее руки пахли тестом и материнством.

– Осторожнее, Остап, – сказала она тихо, и в голосе ее, как всегда, плескалась тревога. Она всегда боялась леса, словно знала о нем больше, чем я, охотник, проводящий в его объятиях полжизни. – Леший в последние дни неспокоен. Старик Михей говорил, белки из Заовражья все ушли, а это дурной знак.

Я усмехнулся, коснулся губами ее щеки.

– Леший меня знает, не тронет. А белки ушли, потому что чуют богатую зиму, вот и мечутся в поисках запасов. Не тревожься. К вечеру вернусь, может, с лесной кошкой. Алёнке на зиму воротник знатный выйдет.

В ее глазах мелькнула тень, но она промолчала. Алёнка, наша маленькая зорька, еще спала в своей колыбели, разметав по подушке светлые, как лен, волосы. Я постоял над ней мгновение, вдыхая ее теплый, сонный запах, и это мгновение было целой жизнью, полной и совершенной. Если бы я только знал, что оно последнее.

Путь мой лежал далеко, за старую вырубку, туда, где лес становился дремучим и нехоженым. Именно там, по слухам, и водились лесные кошки – звери осторожные, почти призрачные. Обычный охотник туда не совался. Места те звались Заовражьем, а сердце их – Тихим Омутом. Старики сказывали, что это не овраг вовсе, а шрам на теле земли, оставленный в те времена, когда боги еще ходили среди людей и мерились силой. Говорили, что там, на дне, время течет иначе, а земля помнит все, что было, и все, что будет. Пустые байки, думал я, для пугливых баб и детей. Для меня же это было лишь место, где дичь непугана и щедра.

Первые часы пути лес был привычным, живым. Он дышал, шелестел, пел на тысячи голосов. Стучал дятел, деловито осматривая старую сосну. Прошелестела в кустах ящерица. Солнечные пятна плясали на тропе, как игривые щенки. Я шел легко, тело было сильным и послушным, а душа спокойной. Я был на своем месте, делал свое дело. Я был частью этого мира, его плотью и кровью.

Но стоило мне пересечь ручей, который местные считали границей Заовражья, как мир вокруг начал меняться. Перемена была не резкой, а плавной, вкрадчивой, оттого и более жут-

кой. Сперва я заметил, что замолчали птицы. Не просто утихли на время, а исчезли вовсе. Их трели и щебет сменились вязкой, гнетущей тишиной. Воздух, до этого свежий и упругий, стал неподвижным и тяжелым, будто я вошел в погреб. Даже ветер боялся залетать сюда, и листья на деревьях висели безжизненно, словно вырезанные из темного металла.

Деревья тоже стали иными. Старые, кряжистые сосны и ели сменились исполинскими вязами и дубами, чьи кроны сплетались так плотно, что почти не пропускали солнечный свет. Они стояли, как молчаливые великаны, покрытые седыми бородами мхов и лишайников. Их корни, толстые, как змеи, выползали из земли, изгибаясь в причудливых формах, похожих на застывшие в агонии тела. Здесь не было подлеска, не было молодой поросли – только голая, черная земля, устланная многовековым слоем гниющих листьев, которые не хрустели, а вязко чавкали под сапогами.

Охотничье чутье, отточенное годами, било тревогу. Каждый нерв в моем теле кричал: «Беги!». Это был не страх перед волком или медведем. Это был первобытный ужас перед местом, которое было чуждо самой жизни. Местом, где Покон, великий Закон мироздания, был искривлен или вовсе не действовал. Но была во мне и упрямая гордыня охотника. Я прошел слишком далеко, чтобы поворачивать назад из-за «дурного чувства». Я говорил себе, что это просто старый, глухой лес, и потому в нем так тихо.

И тут я почувствовал его. Не запах, не звук. Это было ощущение. Ощущение чего-то огромного, спящего поблизости. Оно было похоже на то, как чувствуешь близость грозы задолго до первого раската грома – по тяжести в воздухе, по тому, как замирает все живое. Но это было нечто неизмеримо большее. Словно под этими черными деревьями, под толщей земли и камня, спало нечто размером с гору, и его медленное, глубокое дыхание заставляло замирать сам мир.

Любопытство, темное и нездоровое, смешанное с азартом первопроходца, потащило меня вперед. Я хотел увидеть то, чего другие боялись. Я хотел заглянуть за край.

И я увидел его. Тихий Омут.

Это был не просто овраг. Это был провал, гигантский разлом в земле, уходящий в непроглядную темень. Его края, поросшие мхом, толстым и влажным, как шкура утопленника, круто обрывались вниз. На дне, насколько хватало глаз, не было ничего, кроме клубящегося, маслянистого тумана, который не рассеивался даже под редкими лучами света, пробивавшимися сквозь кроны. Оттуда не несло сыростью или тленом. Оттуда не несло ничем. Это была абсолютная пустота, поглощавшая и запахи, и звуки.

Я подошел к самому краю, чувствуя, как холодеет кровь в жилах. Ощущение спящего исполина усилилось стократ. Он был там, внизу. Он спал под этой туманной периной, и весь этот лес был лишь частью его сновидения. Мое сердце заколотилось так сильно, что, казалось, его стук был единственным звуком в этом мертвом месте. Я заставил себя отвести взгляд от бездны и осмотреться.

И тогда я увидел ее. Лесную кошку.

Она сидела на толстом, искривленном корне, выступавшем над самым обрывом. Крупная, с густым, пятнистым мехом – именно такая, о какой я мечтал. Но что-то в ней было неправильно. Она не пряталась, не выслеживала добычу. Она просто сидела, неподвижно, как изваяние, и смотрела вниз, в туманную пропасть. Ее зеленые глаза были пусты и не отражали света. Она словно была зачарована, околдована этим местом.

Охотничий инстинкт взял верх над страхом. Такая добыча, да еще и в таком удобном положении… Я медленно, стараясь не издать ни звука, снял лук с плеча. Поднял, наложил стрелу. Тетива натянулась, заскрипев так громко в этой оглушающей тишине, что мне показалось, будто треснуло дерево. Кошка даже не шелохнулась. Она не видела меня, не слышала. Все ее существо было поглощено созерцанием бездны.

Я прицелился. Сердце все еще колотилось, но руки были тверды. Мгновение – и острая, кованая сталь вопьется в ее тело, а к вечеру я принесу Милане и Алёнке подарок, который согреет их зимой. Ради этого стоило перетерпеть страх.

Я сделал крошечный шаг в сторону, чтобы найти опору поустойчивее. Мой сапог опустился на подушку мха, скрывавшую под собой край обрыва. Я помню это ощущение до сих пор, даже будучи тенью. Ощущение того, как земля, казавшаяся твердой, вдруг стала податливой и предательской. Мох был скользким, как смазанный жиром, а под ним край осыпался влажной, черной крошкой.

Опора ушла из-под ног.

Мир перевернулся. Небо и земля поменялись местами. Лук выпал из рук, стрела бесполезно чиркнула по стволу дерева. Я отчаянно взмахнул руками, пытаясь ухватиться за воздух, за ветку, за что угодно. Пальцы вцепились в скользкий корень, но тут же сорвались. Крик застрял в горле. В глазах мелькнули зеленые кроны, серые стволы, клочок бледного неба – все это смешалось в один безумный калейдоскоп.

Падение казалось вечностью. Я не летел, а тонул в тяжелом, неподвижном воздухе оврага. Тишина, которая давила снаружи, теперь ворвалась в меня, заполнила легкие, уши, мысли. И в этой абсолютной тишине я услышал.

Это не был звук. Это была мысль, но не моя. Она была древней, как сами камни, и простой, как дыхание.

«Проснулся…»

Последнее, что я увидел перед тем, как тьма поглотила меня, было не дно оврага. Я увидел, как туман внизу на мгновение разошелся, и оттуда, из непроглядной глубины, на меня посмотрело Нечто. У него не было глаз в человеческом понимании. Это были два провала в еще большую черноту, два колодца без дна, полные холодного, безразличного знания. И в этом взгляде не было ни злобы, ни жалости. Лишь спокойное осознание свершившегося факта. Словно камень, упавший в пруд, наконец-то достиг дна.

А потом был удар. Резкая, ослепляющая боль, пронзившая все тело, и хруст, который я скорее почувствовал, чем услышал. И темнота.

…Память схлынула, оставив меня дрожать в сером сумраке избы. Я снова был здесь, рядом с моим мертвым телом, рядом с моим разбитым горем миром. Но теперь я знал. Моя смерть не была случайностью. Я не просто сорвался в овраг. Я упал в ладонь к тому, кто спал на его дне. Я разбудил его своим падением, своим страхом, своей предсмертной вспышкой жизни.

И теперь его взгляд, тот самый взгляд из бездны, был прикован ко мне. Он прошел за мной из Тихой Омуты, просочился сквозь завесу миров, ведомый отголоском крика Миланы. Он нашел меня здесь, в моем собственном доме, и я понял, что это не конец моего пути. Это было лишь начало. Я был зерном, упавшим на его жернов. И жернов медленно, неотвратимо начинал свое вращение.

Тяжесть его внимания стала почти осязаемой. Серый туман Нави вокруг меня начал сгущаться, закручиваться, принимая смутные, тревожные очертания. Тени в углах избы перестали быть просто тенями. Они зашевелились, вытягиваясь ко мне тонкими, любопытными пальцами. Мир живых, с его теплом и горем, начал отдаляться, блекнуть, словно я смотрел на него сквозь толщу мутной воды. А мир Нави, изнанка, мир духов и несбывшихся судеб, наоборот, становился реальнее, четче, обретал глубину и звук. Я начал слышать его шепот – миллионы голосов, похожих на шелест сухих листьев. Это шептали те, кто, как и я, застрял между мирами. Но за всеми этими голосами я слышал один, безмолвный, но оглушающий зов. Зов из Тихой Омуты.

Он не просто смотрел. Он звал меня к себе. И я понимал с ужасающей ясностью, что рано или поздно мне придется ответить на этот зов. Мое путешествие только начиналось, и дорога вела не к светлым лугам Ирия, о которых пели волхвы. Моя дорога вела обратно, в ту

самую бездну, где я оставил свое тело и разбудил того, чье имя было страшно даже произнести шепотом.

Глава 3. Дыхание Змея

Зов не имел голоса. Он не звучал ни в ушах, ни в той пустоте, что заменяла мне теперь голову. Он был подобен тетиве, натянутой между моей бесплотной сутью и бездонной глоткой Тихого Омута. И тетива эта дрожала, вибрировала с неотвратимой силой, увлекая меня прочь от единственного, что еще имело значение – прочь от дома, где плакала моя Милана.

Я цеплялся за образ ее лица, за золотистую паутинку волос Алёнки, за тепло очага, которое уже не мог ощутить, но помнил каждой частицей своего разорванного бытия. Эти воспоминания были якорями, державшими меня у порога Яви, у тонкой пелены, сквозь которую просачивались горе и боль моей семьи. Но тяга была сильнее. Она не рвала, не ломала – она влекла, как река влечет упавший лист, как зима влечет к земле уставшие семена.

Моя изба, такая родная, выстроенная моими руками из вековых сосен, начала таять, терять очертания. Плач Миланы превращался в далекий, затихающий перезвон, словно кто-то уносил от меня последнюю музыку жизни. Стены стали прозрачными, сквозь них проступили серые стволы деревьев изнаночного леса Нави, мертвенно-бледные, без единого зеленого листка. Мир живых истончался, превращаясь в призрачный выдох на замерзшем стекле, а мир духов, холодный и безмолвный, обретал плотность и вес.

Меня несло назад, по тому самому пути, что привел меня к гибели. Но теперь я видел его иначе. Лес, который я знал с детства, каждая тропинка в котором была мне знакома, как линии на собственной ладони, предстал передо мной своей истинной, сокрытой стороной. Там, где раньше я видел могучий дуб, которому молились наши предки, теперь стоял седой старец с корявыми ветвями-руками, глубоко спящий, но его сон был тревожен. Его корни уходили не в землю, а в саму ткань Нави, питаясь тишиной и забвением. Там, где журчал веселый ручей, теперь вилась серебряная змейка, сотканная из пролитых слез и несбывшихся надежд, и тихий шепот ее вод рассказывал истории тех, кто ушел до меня.

Это была изнанка мира, его душа. Каждое дерево, каждый камень, каждый клочок мха обладал своей волей, своей памятью, своей скорбью или тихой вековой мудростью. Лешие, которых я раньше лишь чувствовал краем сознания, как внезапный холод или треск сухой ветки за спиной, теперь были смутными, но различимыми силуэтами в сером мареве – громадные, поросшие мхом фигуры, сотканные из самой сути леса. Они не замечали меня. Для них я был лишь еще одной потерянной искрой, еще одним вздохом, что пронесся мимо, влекомый волей, куда более древней и могущественной, чем их собственная.

Чем ближе я подлетал к Заовражью, тем гуще становилась тишина. Это была не просто тишина – отсутствие звука. Это было деятельное, всепоглощающее безмолвие. Оно давило, вытесняло любые мысли, любые воспоминания. Даже образы Миланы и Алёнки стали тускнеть, словно старые вышивки, выцветшие на солнце. Я боролся, я пытался удержать их, но тишина омута была подобна жуткой трясине – чем больше я барахтался в своей памяти, тем глубже она меня засасывала.

И вот я снова оказался на краю. На краю провала, что звался Тихим Омутом. В мире Яви это была просто огромная, поросшая лесом яма, зияющая рана в теле земли. Но здесь, в Нави, это было нечто иное. Это был не провал вниз. Это было средоточие, центр, куда стекались все нити этого серого мира. Воздух над омутом не был прозрачным. Он дрожал и струился, как марево над раскаленными углями, но это марево было холодным, высасывающим всякое тепло. Оно искажало очертания деревьев на той стороне, заставляя их изгибаться и плыть, словно отражения в кривой воде.

Зов усилился, превратившись из натянутой тетивы в неумолимый водоворот. Я начал опускаться. Не падать, как в тот последний, роковой миг моей жизни, а медленно погружаться, словно в толщу темной, густой воды. Серая пелена Нави смыкалась надо мной, и я видел,

как наверху, на краю, остался стоять призрак меня самого – охотника Остапа, с растерянным лицом и луком в руке. Это была последняя оболочка моей человеческой памяти, пустой кокон, который я оставлял позади.

Погружение было бесконечным и мгновенным одновременно. Здесь не было времени, не было расстояний. Была лишь глубина и нарастающее давление чужого, исполинского сна. Я не видел дна. Я видел то, что мой человеческий разум отчаянно отказывался принимать, то, для чего в языке людей не было слов.

Это была Пустота. Но не мертвая, а живая. Она пульсировала. Медленно, с ритмом, от которого содрогались бы горы, если бы у них было чем содрогаться. Вдох. И пространство вокруг меня сжималось, уплотнялось, становясь почти осязаемым, напитанным древней, непостижимой мощью. Выдох. И оно расширялось, разлеталось мириадами невидимых спор, несущих в себе эхо первозданного Хаоса. Это было дыхание. Дыхание того, что спало здесь с тех времен, когда еще не было ни богов, ни людей.

Я понял, что не вижу его. Не потому, что оно было невидимо, а потому, что оно было всем. Стены омута, дрожащий воздух, серый мох, даже я сам – все это было лишь частью его сна, рябью на поверхности его дремлющего сознания. Аждаха. Имя всплыло в моей памяти не как слово, а как ощущение – первобытный ужас, заложенный в кровь каждого живого существа. Ужас перед тем, что ползет без ног, видит без глаз и чья мудрость есть сама вечность и само разрушение.

Я чувствовал его. Чувствовал исполинские кольца, которыми оно опоясывало недра земли, чувствовал тяжесть чешуи, каждая из которых была размером с утес. Я ощущал медленное, почти незаметное движение в его глубине – это не было движением тела, это было движение мысли, тяжелой и вязкой, как магма. Мысли, которым были тысячи и тысячи лет. Во сне оно видело рождение звезд и их угасание, оно помнило первый крик и последний вздох миров, что были до нашего.

И в этом бесконечном, космическом сне я был песчинкой. Меньше, чем песчинкой. Я был мимолетным раздражителем, уколом, который потревожил его дремоту. Мой предсмертный крик, усиленный отчаянием Миланы, пробивший грань миров, был для него не громче писка комара. Но этого было достаточно. Он заметил. Не проснулся, нет – лишь чуть пошевелился во сне, и этого движения хватило, чтобы моя судьба была решена.

Прикосновение к этой силе было губительным. Оно не сжигало, оно переписывало саму мою суть. Воспоминания о моей жизни, о любви, о дочери – все это стало казаться чужим, заимствованным. Словно я читал книгу о каком-то простом, наивном человеке, жившем когда-то очень давно. Его радости и горести были мелкими, его мир – крошечным и хрупким. А здесь, в сердцевине дыхания Змея, была лишь одна истина – вечный цикл сна и пробуждения, созидания и распада.

И тогда я увидел это снова.

Время изогнулось, схлопнулось в одну точку. Я одновременно находился на дне омута, в самом центре пульсирующей пустоты, и на его краю, в своем еще живом, дышащем теле. Я видел свои собственные глаза, расширенные от ужаса и изумления, смотрящие вниз. Я чувствовал, как кошка с серебристой шерстью, зачарованная бездной, прыгает в сторону. Я ощущал, как мох под моим сапогом подается, как нога скользит по влажному камню, как теряется равновесие.

Крик замер в горле. Мир перевернулся.

Но в этот раз падение было иным. Я падал не в пустоту. Я падал в медленный, тягучий выдох Змея. Сила, не предназначенная для смертных, ударила по мне, еще живому. Это было подобно удару молнии, но она не жгла плоть – она выжигала душу из тела.

Я почувствовал чудовищный, непереносимый рывок. Словно невидимые руки схватили меня за самую сердцевину и с силой дернули вверх, прочь из уютной темницы костей и мяса. Был звук, похожий на треск рвущейся ткани – это рвалась связь, что держала меня в мире Яви.

Последнее, что я увидел своими, еще человеческими, глазами, была моя собственная плоть. Безжизненное тело охотника Остапа, нелепо раскинувшее руки, кулем летело вниз, чтобы через мгновение удариться о поросшие мхом камни. Я видел, как из разбитой головы вытекает темная кровь, впитываясь в древнюю землю. Это было так обыденно, так незначительно. Просто кусок мяса вернулся в землю.

А я, моя истинная суть, был вырван. Меня подхватило и потащило вглубь, в самый центр пульсации. Я больше не был наблюдателем. Я стал частью этого дыхания. Мое сознание, мои мысли, моя тоска – все это растворялось, смешивалось с древними, чужими снами. Я видел образы, которые не мог понять: пылающие небеса, океаны из ртути, города, построенные из света, и тени, пожирающие звезды.

Связь с домом, с Миланой, с Алёнкой, которая до этого была натянутой тетивой, лопнула с глухим, беззвучным щелчком. Теперь не было ничего, что тянуло бы меня назад. Не было якорей. Не было прошлого. Охотник Остап умер во второй раз. Первый раз – его тело, упав на камни. Второй раз – его душа, растворившись в дыхании спящего бога.

Я больше не летел, не падал и не погружался. Я просто был. Частицей гигантского, дремлющего разума. Без имени, без памяти, без воли. Лишь слабое, затухающее эхо любви и боли напоминало мне, что когда-то я был человеком. Но и оно таяло, как снежинка на горячей ладони, в бесконечном, медленном ритме Дыхания Змея, который делал свой очередной вечный Вдох. И этот вдох был моей новой тюрьмой, моей новой судьбой, моим новым, непостижимым бытием. Путь в Ирий был закрыт навсегда. Мой путь лежал теперь только вглубь, в самые темные сны древнейшего из существ, и я не знал, суждено ли мне когда-нибудь проснуться.

Глава 4. Изнанка Мира

Не было ни света, ни тьмы. Не было ни верха, ни низа. Была лишь тишина, настолько глубокая и всеобъемлющая, что само понятие звука казалось давно забытой ересью. Я был ничем – осколком мысли в безграничном, дремлющем разуме, соринкой в океане чужого сна, который длился дольше, чем существуют горы. Память о себе, об Остапе, охотнике, муже и отце, была не более чем слабым эхом, далеким огоньком, который вот-вот погаснет в этом исполинском, немыслящем сознании. Я растворился. Моя воля, мои страхи, моя любовь – все стало пищей для снов Аждахи, Великого Змея, что спал в корнях земли. Это была вторая смерть, окончательная и безвозвратная.

Но Покон, Великий Закон, не терпит пустоты. Даже в бездне забвения остается след, борозда от прошедшего плуга. И этот след, эта последняя искра моего «я», начала медленно, мучительно собираться заново. Не из воли к жизни – ее у меня не осталось – а по какой-то иной, неведомой причине. Словно сам сон гигантского чудовища, насытившись моей короткой человеческой жизнью, вытолкнул меня из своих глубин, как камень выталкивает вода.

Первое, что вернулось, было ощущение падения. Не того, последнего, в Тихий Омут, а иного – падения сквозь бесконечные слои реальности, сквозь дремоту веков. Затем – холод. Не телесный, не мороз, что кусает кожу, а вселенский холод пустоты между мирами, холод одиночества, от которого нельзя укрыться. И, наконец, мысль. Одна, простая, как удар кремня о кресало: «Я… есть».

Это «я» было хрупким, прозрачным, сотканным из остатков воспоминаний и боли. Я открыл глаза, которых у меня не было, и узрел мир, который не предназначался для глаз живых.

Явь, мир людей, мой мир, висел надо мной далеким, мерцающим пологом, сотканным из тумана и приглушенных красок. Я видел очертания деревьев, крыши родной деревни, но все это было нечетким, размытым, словно смотришь на мир сквозь толщу мутной воды. Звуки доносились оттуда глухими отголосками: лай собаки, плач ребенка, скрип телеги – все они теряли свою суть, превращаясь в бесплотный гул, лишенный смысла. Я был здесь, но не там. Я был отделен невидимой, но несокрушимой преградой.

А подо мной, вокруг меня, сквозь меня самого простиралась Навь. Изнанка Мира.

Это было зрелище, от которого человеческий разум сошел бы с ума, но мое новое, бесплотное сознание впитывало его с ужасающим спокойствием. Здесь не было ни земли, ни неба в привычном понимании. Весь мир состоял из переплетения исполинских корней. Не древесных, нет. Это были жилы самой земли, артерии Мироздания. Одни, толщиной с вековой дуб, налитые тусклым, медным светом Живы, жизненной силы, пульсировали медленно и размеренно, как сердце спящего великана. По ним текла жизнь вверх, к солнцу, к Яви. Я видел, как этот свет питает травы на лугах, наливает соком яблоки в садах, зажигает румянец на щеках моей Алёнки…

Другие корни были иными. Тонкие, черные, иссохшие, словно нити вытканной скорби. По ним вниз, в самые темные глубины, сочилась не влага, а забвение. Боль, страдания, болезни, угасшие жизни – все это стекало сюда, образуя темные, застойные потоки. Я видел, как хворь старого деда Михея темным сгустком медленно ползет по такому корню, ища выхода в самую преисподнюю.

Между корнями текли реки. Не из воды, но из самой сути вещей. Вот несется стремительный, серебристый поток – это река чужих воспоминаний. Прикоснись к ней – и тебя захлестнет радость первого поцелуя, горечь предательства, тепло очага, ярость битвы. Все, что когда-либо было пережито людьми, зверьми, даже камнями, текло здесь, смешиваясь в единый, гудящий хор. Я отшатнулся от этой реки, инстинктивно чувствуя, что она может окончательно смыть остатки моей собственной личности, растворить мое хрупкое «я» в океане чужого опыта.

А вот – мутная, серая, вязкая река. Река Скорби. Она текла медленно, и в ее водах я увидел то, что заставило бы мое мертвое сердце разорваться, будь оно у меня. Я увидел свою деревню. Вернее, ее отражение в Нави. Каждая слеза, пролитая по мне, каждая горестная мысль, каждый вздох отчаяния сливались в единый ручей, который впадал в эту великую реку.

Я подплыл ближе, ведомый невыносимой тоской. Я заглянул в этот поток и увидел Милану. Не ее тело, а ее боль. Она была похожа на серый, израненный цветок, лепестки которого опалила стужа. Ее горе было не просто эмоцией, здесь, в Нави, оно было почти осязаемым – тяжелым, холодным, с острыми краями, которые ранили все, чего касались. Рядом с ней трепетал маленький, испуганный огонек – Алёнка. Ее детское горе было иным: не всепоглощающим, а полным недоумения и страха. Она не понимала, почему отец не просыпается, почему мать все время плачет. Ее растерянность ощущалась как тонкий, звенящий укол холода.

Я протянул к ним свою бесплотную руку, желая коснуться, утешить, сказать, что я здесь. Но мои пальцы прошли сквозь их скорбь, не оставив следа. Я был для них ничем. Призраком, наблюдающим за пожаром в собственном доме из-за толстого стекла. От этого бессилия меня охватил ужас, куда более страшный, чем ужас смерти. Смерть была концом. А это – вечность муки.

Я попытался закричать, но из моего нематериального горла не вырвалось ни звука. Мой безмолвный вопль был лишь рябью на потоках Нави, слабой волной, тотчас поглощенной общим течением. Я понял, что крик Миланы, тот, что пробил завесу между мирами, был не просто криком горя. Это был вопль такой силы, что он стал деянием, поступком, изменившим ткань реальности. Мой же нынешний крик был не громче шепота падающего листа.

В отчаянии я отвернулся от реки Скорби и поплыл прочь, бесцельно дрейфуя в этом мире корней и потоков. Что мне теперь делать? Куда идти? Путь в Ирий, светлый луг предков, был для меня закрыт. Моя душа не прошла по солнечному мосту. Она упала в ладонь к Аждахе и была переварена его сном. То, чем я стал, не было душой в прежнем понимании. Я был… отголоском. Эхом, застрявшим между мирами.

Мое бесцельное странствие привело меня в место, где корни становились темнее, а потоки энергии – медленнее и гуще. Здесь царил полумрак, и воздух, которого не было, казался тяжелым и спертым. Я увидел то, чего не замечал ранее. Движение. Среди корней скользили тени, другие обитатели Нави. Это были не души людей. Некоторые походили на сгустки мрака с тускло светящимися глазами, другие – на переплетенные узлы гниющих корней, медленно ползущие по дну этого изнаночного мира. Это были духи, рожденные самой Навью: навьи, упыри в своем истинном, бесплотном обличье, духи болезней и забвения. Они не замечали меня, занятые своими вечными, непонятными делами – они пили силу из черных корней, подтачивали светлые жилы Живы, охотились на слабые, заблудшие души.

Я замер, стараясь не привлекать внимания. И тут я увидел его. Маленький, тусклый огонек, мечущийся между корнями. Это была душа. Недавно умершего, судя по тому, как ярко в ней еще горели остатки человеческих чувств. Душа старика или ребенка, я не мог разобрать. Она была напугана и растеряна, звала кого-то, но ее зов был таким же беззвучным, как и мой.

И тут из-за толстого, покрытого темной слизью корня выскользнула тень. Она была похожа на огромного паука, сотканного из мглы и отчаяния. Она двигалась быстро, бесшумно. Маленькая душа не заметила ее приближения, пока не стало слишком поздно. Тень набросилась на нее, и я «услышал» пронзительный, беззвучный визг ужаса и боли. Паук из мрака оплел душу липкими нитями, и огонек начал тускнеть. Тварь не пожирала его, нет. Она высасывала из души воспоминания, чувства, саму ее суть, оставляя лишь пустую, серую оболочку.

Я смотрел, парализованный ужасом. Я понял, что могло бы стать со мной. Что станет с любой душой, которая задержится здесь, не найдя дороги к предкам или перерождению. Навь – не просто изнанка. Это еще и желудок мира, переваривающий все отжившее, все слабое и потерянное.

Когда тварь насытилась и уползла прочь, оставив после себя лишь серый, безжизненный кокон, который медленно начал распадаться на пыль, я ощутил нечто новое. Не страх. Не отчаяние. А странную, холодную ясность.

Мое горе по семье никуда не делось. Оно жгло меня изнутри невидимым огнем. Но к нему примешалось иное знание. Ужасающее в своей простоте. Мир был устроен не так, как я думал. Жизнь в Яви, все наши радости и печали, наша любовь и ненависть – это лишь рябь на поверхности глубокого, темного омута. Настоящие законы, настоящий Покон, действовали здесь, внизу, в мире корней и вечной дремы. И я, волею слепой судьбы или злого рока, оказался в самом сердце этого механизма.

Мое падение в Омут не было случайностью. Моя смерть не была концом. Крик Миланы не был просто криком. Все это были звенья одной цепи, события, которые потревожили нечто, что не должно было быть потревожено. Аждаха.

И тут я почувствовал его. Не так, как раньше, когда был растворен в нем. Теперь я ощущал его отдельно от себя. Глубоко-глубоко подо мной, под всеми корнями, под всеми реками Нави, спал он. Его присутствие было подобно весу целой горы. Его дыхание было подобно приливам и отливам невидимого океана, и эти волны заставляли колыхаться все потоки вокруг. Каждый его вздох длился столетие. Его сны рождали чудовищ, что бродили в самых темных уголках Нави, и светлые видения, что прорастали наверх, в Явь, в виде сказок и легенд.

Он спал. Но его сон стал беспокойнее. Камень, брошенный в тихую воду, породил круги, и я, Остап, был одним из этих кругов.

Мое сознание, пересобранное из остатков, было уже не совсем человеческим. Я был связан с ним. Я чувствовал его дремотную мощь, его первобытную, стихийную суть, лишенную добра и зла. Змей не был злым. Он был… просто был. Как гора, как река, как гроза. И я, частица его сна, теперь был привязан к нему невидимой нитью.

Куда она вела? Назад, к моей семье, в мир света? Нет. Эта нить тянула меня не вверх, а вглубь. Вниз. К источнику этого исполинского дыхания. К самому сердцу спящего бога.

Я перестал бесцельно дрейфовать. Растерянность и ужас уступили место мрачной, холодной решимости. Я больше не был Остапом, охотником из маленькой деревни. Тот Остап умер дважды: один раз – на дне омута, второй – в снах Аждахи. Я был чем-то новым. Наблюдателем. Странником изнанки. И мой путь лежал не к предкам. Мой путь лежал туда, куда боятся заглядывать даже самые темные духи Нави.

Я посмотрел наверх в последний раз, на туманный полог Яви, где горел невидимый огонь скорби моей семьи. Боль никуда не ушла, но теперь я понимал: простое возвращение невозможно. Но, возможно, поняв, чем я стал и какова моя связь со спящим Змеем, я смогу на что-то повлиять. Возможно, судьба моей семьи и всего моего мира теперь зависела не от того, насколько громко они будут плакать, а от того, осмелюсь ли я последовать зову, ведущему в самую бездну.

Я развернулся и медленно поплыл вниз, вдоль самого толстого и темного корня, который, как я чувствовал, уходил к самому средоточию силы. Потоки Нави расступались передо мной, словно признавая во мне не чужака, а часть этого жуткого, изнаночного мироздания. Мое путешествие только начиналось. И я не знал, стану ли я ключом к пробуждению древнего ужаса или последней преградой на его пути.

Глава 5. Песни Забытых

Зов Змея стал моим дыханием, биением сердца, которого у меня больше не было. Он не звучал в ушах, ибо ушей я был лишен. Он вибрировал в самой сути того, чем я стал – в серой, бесплотной дымке, сохранившей лишь тень воспоминаний об Остапе-охотнике. Этот низкий, гудящий резонанс, идущий из-под самых корней мироздания, был и компасом, и поводом. Он тянул меня прочь от тонкой, мерцающей завесы, за которой осталась моя Явь, моя Милана, моя Алёнка. Он тянул меня вглубь, туда, где изнанка мира становилась плотнее, древнее и страшнее.

Моя решимость, выкованная в пламени горя и закаленная ледяным прикосновением Нави, была моим единственным достоянием. Я больше не цеплялся за прошлое, как утопающий за корягу. Я принял, что тот мир для меня потерян. Река Скорби, в которой я видел отражение слез моей жены, теперь текла где-то позади, ее тихий шепот затихал. Теперь передо мной расстилался истинный лик Нави – не просто зеркальное отражение Яви, а ее первооснова, ее темный, непроявленный двойник.

Здесь все было наоборот. Деревья росли корнями вверх, впиваясь в серое, беззвездное небо, похожее на мутное стекло. Их голые, скрюченные ветви царапали землю, состоявшую из спрессованной пыли времен и забытых снов. Воздуха не было, но было нечто, его заменявшее – плотная, вязкая тишина, в которой тонули любые звуки, прежде чем они успевали родиться. Я двигался сквозь нее не шагами, а волей, скользя над поверхностью, что помнила следы всех, кто когда-либо уходил не в свой черед. Зов Аждахи вел меня через эти безмолвные леса, мимо рек, в которых вместо воды текла застывшая тоска, к самому сердцу этой земли, к его логову.

Именно тогда я начал их видеть. Не глазами, а тем новым, жутким чувством, что даровала мне связь со Змеем. Сначала это были лишь смутные искажения в ткани Нави, уплотнения морока, места, где тишина становилась особенно тяжелой. Я проплывал мимо почерневшего остова дуба, в который когда-то ударила молния. В Яви от него остался лишь обугленный пень, заросший мхом. Здесь же, в Нави, он был вечно живым памятником мгновенной смерти. Возле него, прикованный невидимой цепью к месту своей гибели, стоял человек. Точнее, его отпечаток.

Он был соткан из того же серого вещества, что и все вокруг, но в его силуэте застыл предсмертный крик. Каждый удар невидимого сердца времени в этом мире заставлял его снова и снова переживать одну и ту же секунду. Вот он, молодой парень в вышитой рубахе, прячется от грозы под могучим деревом. Его лицо искажено не страхом, а удивлением. Он смотрит вверх, и в этот миг слепящая белая нить прошивает его от макушки до пят. Его тело вспыхивает, обращаясь в прозрачный, дрожащий силуэт, а потом снова обретает форму, чтобы через мгновение опять быть пронзенным небесным огнем. Вечный цикл, из которого не было выхода.

Я остановился, наблюдая за этим беззвучным представлением ужаса. Я не чувствовал к нему жалости в человеческом понимании. Та часть меня, что умела сопереживать по-людски, истлела вместе с телом. Но я ощущал… резонанс. Его боль была нотой в общей симфонии этого мира, и эта нота была мне знакома. Это был Заложный мертвец, один из тех, кто умер «не своей» смертью, кого не приняла Мать Сыра-Земля. Его душа не могла уйти ни в Ирий, ни глубже в Навь. Она была впаяна в полотно мира на том самом месте, где Покон был нарушен его внезапной, неестественной гибелью. Он не был личностью. Он был эхом, заевшей пластинкой, царапиной на стекле бытия. Он не страдал, ибо для страдания нужно сознание. Он был самим страданием, воплощенной агонией, ставшей частью ландшафта.

Я двинулся дальше, и чем глубже я погружался, тем больше таких «узлов» на ткани реальности я встречал. У мелкого, заросшего тиной брода, где в Яви стоял покосившийся мосток, я увидел женщину. Она стояла по колено в черной, неподвижной воде навийского отражения

ручья. Ее длинные, как водоросли, волосы медленно колыхались, хотя течения не было. Она без конца зачерпывала пригоршнями воду и пыталась умыть лицо, но вода просачивалась сквозь ее призрачные пальцы. Утопленница. Вечно ищущая чистоты, вечно осквернённая илистой водой, что забрала ее жизнь. Ее тоска была иной, не такой резкой и огненной, как у пораженного молнией. Она была тягучей, холодной, как донный ил. Она не кричала – она источала бесконечную, тихую скорбь, от которой сама земля вокруг нее, казалось, стала влажной и зыбкой.

Я смотрел на них, этих пленников мгновения, и начинал понимать. Навь – это не место наказания. Здесь нет судей и палачей. Покон безличен и беспристрастен. Это мир великого равновесия. И если что-то в Яви обрывается слишком резко, слишком неправильно, то в Нави остается узел, энергетический сгусток, который будет распутываться веками, пока само время не сотрет его в пыль. Эти души не были прокляты богами. Они были прокляты самим мироздaнием, нарушенным законом их собственной смерти.

И тогда я впервые задал себе вопрос: а я? Почему я не такой? Моя смерть тоже была неправильной, внезапной. Я сорвался в омут, я разбудил то, что спало. Почему же я не прикован к тому проклятому месту, обреченный вечно падать в бездну? Ответ пришел сам собой, гулким эхом в моем не-сознании. Потому что меня поймали. Мою душу вырвали из тела еще до того, как оно разбилось о камни. Меня забрал Аждаха. Я не стал эхом, застрявшим в прошлом. Я стал частью чего-то иного, чего-то живого, хоть и спящего. Я не узел на полотне. Я – нить, которую тянет в свои руки исполинский ткач. Эта мысль не принесла ни облегчения, ни страха. Лишь холодное, кристальное понимание своего места в этом сером гобелене.

Путь привел меня в низину, окутанную вечным туманом. Он был плотным, как овечья шерсть, и холодным, как дыхание покойника. Зов Змея здесь становился глуше, словно проходил сквозь толщу воды. И вместе с ним я начал слышать нечто новое. Это был не звук, а скорее ощущение звука. Тонкий, почти неслышимый плач, похожий на писк новорожденных мышат или на скрип обледеневшей ветки на ветру. Он шел отовсюду и ниоткуда, вплетаясь в саму суть тумана.

Я замедлил свое движение, вглядываясь в клубящуюся мглу. И увидел их. Маленькие, едва различимые тени, похожие на комки сажи или сгустки темноты. Они метались в тумане, крохотные, бесформенные, и от каждого из них исходила волна пронзительного, детского отчаяния. Потерчата. Души некрещеных, не нареченных именем младенцев, умерших до срока. Их не приняла ни Явь, ни Навь. Они застряли между мирами, в этом вечном тумане, и единственное, что у них было – это бесконечный, неутолимый голод по материнскому теплу и вечный зов, на который никто никогда не ответит.

Одна из теней подлетела ближе. У нее не было ни лица, ни глаз, но я почувствовал, как она тянется ко мне. В ее прикосновении не было угрозы, лишь отчаянная, слепая мольба. Она искала тепла, жизни, имени. И в этот миг ледяная броня моей решимости треснула.

Передо мной пронеслось воспоминание, такое яркое, будто случилось оно секунду назад. Алёнка, совсем кроха, лежит у Миланы на груди. Я подхожу, осторожно касаюсь пальцем ее крошечной ладошки, и она, не просыпаясь, сжимает мой палец со всей своей младенческой силой. Это ощущение – тепло ее кожи, крепость ее хватки, безграничное доверие в этом простом жесте – ударило по мне с такой силой, что моя призрачная форма задрожала и едва не рассеялась.

Боль. Не та тупая, фоновая тоска, что стала моим спутником, а острая, режущая, человеческая боль вернулась ко мне. Я смотрел на эту мечущуюся тень Потерчати и видел в ней не просто духа, а квинтэссенцию утраты. Это была не просто душа ребенка. Это была сама невозможность быть любимым, сама трагедия неначавшейся жизни. Их плач не был просто звуком. Это был голос самой Скорби.

Я отшатнулся. Впервые за все это время в Нави я почувствовал нечто похожее на страх. Не страх перед чудовищами или неизвестностью. А страх перед этой всепоглощающей, бес-

просветной печалью. Я понял, что Навь – не ад, где черти жарят грешников на сковородах, как пугали в деревне. Все было и проще, и страшнее. Навь была миром неупокоенности. Миром незавершенных историй. Миром вечного «почему?». Заложные мертвецы были застывшим криком оборвавшейся жизни. Потерчата были вечным плачем о жизни неначавшейся. Каждый из них был свидетельством какого-то сбоя, какой-то ошибки в великом механизме мироздания.

Я поспешил прочь из туманной низины, оставив за спиной этот хор безмолвного отчаяния. Их плач еще долго следовал за мной, впиваясь в мою сущность ледяными иглами. Он заставил меня снова вспомнить о своей семье, но уже по-новому. Раньше я скорбел о себе, о том, что я потерял. Теперь же моя скорбь обратилась вовне. Я думал о Милане, оставшейся одной. О Алёнке, что будет расти без отца. Их горе теперь казалось мне не просто личной трагедией, а еще одним таким же «узлом», как те, что я видел здесь. Только их узел был еще в Яви, и он кровоточил, истекая болью в оба мира. Крик Миланы пробил завесу между мирами и привлек ко мне внимание Змея. А что, если ее неутихающая скорбь продолжает питать этот разрыв? Что, если она, сама того не ведая, держит открытой рану на теле мира?

Эти мысли меняли меня. Наблюдение за чужим страданием не делало меня черствее. Напротив, оно смывало с меня остатки человеческого эгоизма. Я переставал быть Остапом, чья жизнь трагически оборвалась. Я становился свидетелем. Я начинал видеть не отдельные судьбы, а общую картину – великую, печальную и величественную. Я видел Покон не как карающий закон, а как стремление мира к гармонии. Любое нарушение этой гармонии порождало боль, которая оседала здесь, в Нави, как ил на дне реки.

Зов Аждахи усилился, вырывая меня из этих размышлений. Ландшафт вокруг меня снова изменился. Серые деревья расступились, открывая передо мной долину, непохожую ни на что, виденное мною ранее. Земля здесь была испещрена темными прожилками, похожими на вены. Они слабо пульсировали в такт с гулом, что вел меня. Я чувствовал, как под этой землей бьется гигантское, размером с гору, сердце. Я приближался к средоточию силы, к логову Великого Змея.

Воздух, или то, что его заменяло, стал тяжелым, насыщенным дремотой. Я ощущал сны Аждахи. Они просачивались сквозь почву, поднимались туманными видениями. Это были не человеческие сны о прошлом или будущем. Это были сны самой земли. Я видел, как из первозданного хаоса рождаются горы, как прорезаются русла великих рек, как первые, еще бесформенные твари выползают из соленой воды. Я видел эпохи, сменяющие друг друга, как страницы в книге, которую никто не читал. Миллионы жизней, смертей, рождений – все это было лишь рябью на поверхности его бесконечного сна.

И я, Остап, простая песчинка, сорванная ветром с родного берега, теперь летел прямо в центр этого вечного сновидения.

Я остановился на краю долины, оглядываясь назад. Туманная низина с Потерчатами осталась далеко позади. Где-то там, за ней, были прикованные к своим смертным мгновениям Заложные. А еще дальше, за невидимой гранью, был мой дом, моя Явь, где плакала моя жена. Все это теперь казалось мне частями одного целого. Мир живых и мир мертвых были не двумя разными местами, а двумя сторонами одной монеты. И сейчас эта монета, подброшенная чьей-то рукой, зависла на ребре. И от того, куда она упадет, зависело все.

Я больше не был просто жертвой. Наблюдая за неупокоенными душами, я понял: они пассивны. Они – лишь следствие. Я же, ведомый волей Аждахи, был действием. Я был ключом, который вставили в замочную скважину древнего механизма. И я должен был узнать, какую дверь мне предстоит открыть: дверь к пробуждению древнего ужаса, что поглотит все миры, или дверь к новому равновесию, которое исцелит раны и упокоит даже самых скорбных духов Нави.

С этой мыслью я сделал последний шаг и вступил в долину, где спал Великий Змей. Зов превратился в оглушительный рев, который должен был бы разорвать меня на части, если бы

у меня было что разрывать. Но я лишь растворялся в нем, становясь его частью. Путь скорби и наблюдения окончился. Начинался путь к самому сердцу тьмы.

Глава 6. Око Велеса

Я вошел в долину, и само время здесь, казалось, сгустилось до состояния холодного, вязкого меда. Воздух Нави, обычно похожий на серый пепел угасшего костра, здесь стал плотным, осязаемым. Он не тек, а лежал пластами, каждый из которых хранил отпечаток тысячелетия, прожитого во сне. Это было логово Аждахи, но не в том смысле, как медведь имеет берлогу или волк – логовище. Вся эта земля, от последнего жухлого листа на призрачных ветвях до глубочайшего камня в ее недрах, была телом и сном Змея. Я шел не по земле, а по исполинской, свернувшейся кольцами мысли, застывшей на пороге пробуждения.

Зов, что вел меня сюда, утих, сменившись глухим, подспудным гулом, похожим на биение немыслимо огромного сердца. Этот ритм пронизывал мою бесплотную сущность, и я чувствовал, как остатки моей человеческой памяти, мои скорбные образы Миланы и Алёнки, вибрируют в такт этому вселенскому покою. Я был здесь не гостем. Я был частью этого места, чужеродной клеткой в его древнем организме, занозой в его дремлющем сознании.

Именно тогда, когда я принял это как свою окончательную и беспросветную судьбу, я ощутил его. Взгляд.

Он был не похож на слепую, всепоглощающую волю Аждахи, тянувшую меня к себе. Тот зов был подобен течению реки, что неумолимо несет щепку к водовороту. Этот же взгляд был иным – осмысленным, холодным и безмерно древним. Он не тянул и не толкал. Он изучал. Словно невидимый лесной хозяин, обходящий свои владения, остановился и пристально рассматривал неправильно выросшее дерево, поваленное не ветром, а неведомой хворью.

Я замер, если можно замереть, не имея тела. Мое сознание, ставшее за время скитаний по Нави гибким и острым, сжалось в точку. Этот взгляд исходил не из долины. Он падал сверху, из самой серой бездны, что служила Нави небом. Он проникал сквозь слои спящего времени, сквозь туманы скорби, и касался меня так же легко, как солнечный луч касается пылинки в мире Яви. Но в этом касании не было тепла. Была лишь всепроникающая мудрость, древняя, как сами камни, и бесстрастная, как ход зимы.

Кто мог смотреть так? Не Заложный мертвец, запертый в петле своей смерти. Не голодный навь, ищущий поживы. Даже не Аждаха, чей разум был безбрежным океаном сна. Этот взгляд был… зрячим. Он видел не просто мою бесплотную форму, а всю мою суть: сломанную жизнь, украденную смерть, противоестественную связь со спящим Змеем. Он видел во мне ошибку. Узел, завязавшийся там, где нить Покона, великого мирового Закона, должна была идти ровно и гладко.

Под этим взглядом серая пелена долины начала меняться. Туман перестал быть просто туманом. Он начал сплетаться в узоры, похожие на морозные письмена на зимнем стекле. Земля подо мной, сотканная из горя и забвения, затрепетала, и из нее, словно извечные корни мирового древа, начали прорастать темные, извилистые тени. Они тянулись вверх, переплетались, образуя нечто цельное. Воздух вокруг меня наполнился запахом влажной земли, прелых листьев, мха и той первозданной тишины, что царит в самой глухой лесной чаще, куда не ступала нога человека.

Из сплетения корней и тумана медленно проступила фигура. Она не была ни человеческой, ни звериной, но заключала в себе и то, и другое. Огромный, седобородый старец, чья борода казалась продолжением мхов, а кожа – корой векового дуба. На его могучих плечах покоился плащ, сотканный из теней и звездного света, а в руке он держал посох, который был не вырезан из дерева, а сам являлся молодым, живым деревцем, чьи корни уходили в небытие Нави. Но самым поразительным были его глаза. Они были как два глубоких лесных омута, в которых отражалась не серая мгла изнанки мира, а мудрость всех прожитых и еще не прожитых веков. В одном глазу плясало пламя знания, в другом застыл холод вечности.

Я знал его. Не умом, не памятью охотника Остапа, а всей своей новой, искаженной сущностью. Каждая травинка в Яви знала его. Каждый зверь в лесу чуял его поступь. Каждая душа, пересекающая грань, так или иначе ощущала его присутствие. Велес. Пастырь мертвых и хозяин живого леса. Бог мудрости, скота и сокрытого знания. Тот, кто ходит по обеим сторонам полотна мироздания.

Он не говорил, но его голос прозвучал прямо в моем сознании, подобно шуму листвы в безветренный день.

– Ты зашел далеко, дитя человеческое. Дальше, чем тебе было отмерено.

Я не мог ответить. Что я мог сказать богу? Что я не хотел умирать? Что я тоскую по жене и дочери? Что моя душа прикована к чудовищу, спящему под землей? Все это казалось мелким, ничтожным перед его всевидящим взором. Он и так все это знал.

– Твое место не здесь, – продолжил голос, лишенный эмоций, но полный непреложной силы. – Эта долина – сон. Основание мира. Сюда не спускаются даже те, чья жизнь оборвалась правильно. Ты – рана. Ты – сбой в Поконе.

Я собрал все, что от меня осталось, всю свою волю, и мысленно спросил, вложив в вопрос отчаяние целой разрушенной жизни: «Что я сделал?»

Велес медленно повел головой, и тени вокруг него заколыхались, принимая мимолетные образы: вот я, идущий по лесу, вот Милана, машущая мне рукой, вот Тихий Омут, зияющий черной пастью.

– Ты ничего не *сделал*, – пророкотал его голос. – В том и беда. Твой путь должен был оборваться на тех камнях. Твоя душа, как и положено, отделилась бы от тела, прошла бы через туманы Нави, испила бы из реки Забвения и отправилась бы к новому рождению или в светлый Ирий, как судили бы тебе боги. Так гласит Покон. Но твой предсмертный крик, твой ужас, твоя цепкая жажда жизни… они коснулись того, что должно спать вечно.

Бог указал своим посохом вглубь долины, туда, где гул был особенно силен.

– Он, Великий Змей, не должен был тебя заметить. Его сон – залог равновесия. Но твоя душа, яркая от отчаяния, упала в его сновидение, как искра в сухую солому. Он не проснулся. Нет. Но он потянулся во сне, и его сила вырвала тебя из потока Покона. Ты не умер до конца и не остался жив. Ты застрял. Стал якорем, который держит его сон и явь связанными. Твоя скорбь и скорбь твоей семьи питают эту связь, истончают грань.

Я слушал, и ледяное понимание пронзало меня. Моя смерть не была просто трагедией. Она стала ошибкой вселенского масштаба. Моя любовь к семье, моя тоска – не светлые чувства, а яд, который медленно отравляет ткань мира. Крик Миланы, пробивший завесу между мирами, был не просто криком горя. Он был последней каплей, переполнившей чашу.

– Я не могу вернуть тебя, – бесстрастно констатировал Велес. – Твое тело истлело в Яви. Твоя душа… она обожжена дыханием Аждахи. Она отмечена его сном. Вернуть тебя в прежнее тело – все равно что влить прокисшее молоко обратно в кринку и ждать, что оно станет свежим. Ты отравлен знанием, которое не должен был получить. Твое место в круговороте душ утеряно.

Холод. Всепоглощающий, абсолютный холод, страшнее которого я не испытывал даже в миг падения в омут. Я был никем. Призраком, ошибкой, сломанной вещью, которую нельзя починить. Моя трагедия, моя боль, моя любовь – все это было лишь симптомом космической болезни.

– Но и оставить тебя здесь я не могу, – продолжал бог, и в его голосе впервые проскользнула тень… не то чтобы заботы, но какой-то вселенской ответственности, как у мастера, обнаружившего брак в своей работе. – Твоя привязка к Змею – это незаживающая рана на теле Нави. Пока ты здесь, она будет сочиться, привлекая тварей, искажая пути мертвых. И однажды, через сто или тысячу лет, она может разрастись настолько, что Аждаха и впрямь шевельнется. А его пробуждения не выдержит ни Явь, ни Навь.

Он помолчал, давая мне осознать весь ужас сказанного. Мое маленькое, человеческое горе могло стать причиной конца всего сущего.

– Покон нарушен, но его можно исправить. Не вернуть, как было, но вплести твою оборванную нить в полотно заново. Я не могу вернуть тебе *твою* жизнь, Остап, сын Ярилы. Но я могу дать тебе *новую*.

Я вглядывался в его древнее, как мир, лицо, пытаясь понять. Новую жизнь? Как?

– Твоя душа больше не может существовать в этом виде. Она нарушает гармонию. Чтобы восстановить равновесие, ее нужно поместить в новый сосуд. В Яви. Чтобы ты снова стал частью круговорота, а не застрявшим камнем, мешающим течению. Я предлагаю тебе сделку, смертный. Выбор, который дается немногим. Ты должен покинуть Навь, разорвать связь со Змеем и своей прошлой жизнью. Навсегда. Взамен я вплету твою сущность в новую плоть.

Передо мной, в сером мареве, начали возникать образы, сотканные из тумана и воли бога. Три видения, три пути, три судьбы.

– Выбирай мудро, ибо твой выбор станет твоей новой правдой, а все, что было прежде, обратится в прах, – прозвучал голос Велеса.

Первый образ, что предстал передо мной, был серый волк. Огромный, с горящими желтым огнем глазами, он стоял на заснеженном утесе и выл на призрачную луну. Я чувствовал его голод, его силу, его дикую, первобытную свободу. Я ощущал хруст снега под его лапами, теплое дыхание, вырывающееся паром, ярость охоты и простую, жестокую правду его бытия.

– Ты можешь стать зверем, – пояснил Велес. – Волком, медведем, орлом – кем пожелает твоя суть. Ты забудешь свое имя, свою жену, свою дочь. Вся твоя человеческая память сотрется. Останутся лишь инстинкты. Ты будешь жить по закону леса – честному и прямому. Ты снова станешь охотником, но уже по другую сторону. Твоя жизнь будет короткой, яростной и настоящей. Ты проживешь ее и умрешь, и твоя душа, очищенная дикой природой, вернется в общий поток. Ты обретешь свободу от памяти и скорби. Но ты навсегда перестанешь быть человеком.

Образ волка растаял, и на его месте возник другой. Из земли вырос могучий дуб. Его корни уходили глубоко в Навь, а крона пробивалась сквозь серую пелену в саму Явь. Я почувствовал себя этим деревом. Ощутил, как по моему стволу-телу бегут соки, как шелестит листва на ветру, как в моих ветвях вьют гнезда птицы. Я видел, как сменяются времена года, как рождаются и умирают люди в деревне неподалеку. Я видел, как маленькая девочка, смутно похожая на Алёнку, играет у моих корней, а потом – как она же, уже седая старуха, сидит в моей тени, рассказывая внукам старые сказки. Я все видел, все знал, все чувствовал, но не мог шевельнуться, не мог сказать ни слова.

– Ты можешь стать древом, – произнес бог. – Ты сохранишь толику своего нынешнего сознания, свою способность наблюдать. Ты пустишь корни на границе миров, и твоя жизнь будет длиться веками. Ты станешь молчаливым хранителем мудрости. Ты будешь видеть, как течет жизнь твоих потомков, как меняется мир. Ты обретешь покой и долгое, созерцательное бытие. Но цена этому – вечное молчание и бездействие. Ты станешь свидетелем, лишенным голоса и рук. Твоя скорбь превратится в тихую, бесконечную меланхолию, как смола, сочащаяся из коры.

Дуб исчез, и возник третий, самый мучительный образ. Младенец. Завернутый в старое тряпье, он лежал на пороге чьей-то избы и плакал. Я услышал его первый крик, почувствовал его беззащитность, его голод, его страх перед огромным, непонятным миром. В его глазах не было ни капли воспоминаний, лишь чистое, незамутненное начало.

– Или ты можешь снова родиться человеком, – голос Велеса стал глуше. – Я найду для твоей души новорожденное тело, оставленное без матери. Ты станешь подкидышем, найдёнышем. Ты не будешь помнить ничего: ни своего имени, ни своей охоты, ни своей семьи. Ты начнешь с чистого листа. Тебя ждет новая жизнь, полная человеческих радостей и горестей. Ты

сможешь снова любить, страдать, бороться и умереть своей смертью, в свой срок. Это самый большой дар и самое большое проклятие. Ты получишь шанс на человеческое счастье, но для этого должен будешь предать и забыть все, что делало тебя Остапом. Твоя любовь к Милане и Алёнке станет лишь смутной, необъяснимой тоской в сердце, тенью, которую ты будешь носить всю свою новую жизнь, не зная ее причины.

Три видения застыли передо мной: воющий волк, молчаливый дуб и плачущий младенец. Три двери, ведущие прочь из этого серого ада. Три пути, каждый из которых требовал немыслимой жертвы.

Я должен был отказаться от себя. Чтобы спасти мир от последствий моей случайной смерти, я должен был умереть по-настоящему. Не телом, но духом. Стереть свою личность, свою память, свою любовь.

Свобода зверя. Мудрость дерева. Шанс человека.

Я смотрел на три дороги, и моя бесплотная сущность разрывалась на части. Стать волком и, возможно, однажды пробежать мимо родной деревни, не узнав ее, ведомый лишь голодом? Стать деревом и веками смотреть, как стареет и умирает моя Милана, не в силах даже шепнуть ей на прощание, что я рядом? Или родиться заново, чужим ребенком в чужой семье, и, может быть, когда-нибудь встретить на дороге свою повзрослевшую дочь и не узнать ее, почувствовав лишь странный укол в груди?

Каждый выбор был пыткой. Каждый был предательством. Предательством моей памяти, моей клятвы любить вечно, моей сущности.

Велес ждал. Он не торопил. Для него время было лишь рекой, в которую можно войти дважды, трижды, бесконечное число раз. Но для меня, для остатков охотника Остапа, каждая секунда этого выбора была страшнее самой смерти. Вопрос, который задал мне бог, был не в том, кем я хочу стать.

Он был в том, какой способ забвения я выберу.

Глава 7. Три дня, три нити

Три пути, как три могильных камня, стояли передо мной в безмолвии Нави. Они не были высечены в сером тумане, не вели по видимым тропам. Они жили в голосе бога, что стоял напротив, и каждый его звук отдавался во мне погребальным звоном по тому, кем я когда-то был. Велес, Хозяин Лесов и Проводник душ, смотрел на меня не глазами судьи, но глазами пахаря, разглядывающего каменистую, бесплодную почву. Я был этой почвой – искалеченной, вырванной из привычного круговорота, нарушившей Покон самим своим существованием.

Дыхание спящего под нами Змея Аждахи было едва ощутимым, словно медленный прилив и отлив безбрежного океана тьмы. Оно было основой этого места, его законом и его тишиной. И я, Остап, был тонкой трещиной в сосуде, что сдерживал этот океан. Трещиной, что грозила стать проломом.

– Выбор – это не слово, дитя мое, – пророкотал Велес, и его голос был подобен шороху тысячелетних листьев и скрипу мировых ветвей. – Слово можно забыть, от него можно отречься. Истинный выбор врастает в самую суть, меняя ее безвозвратно. Ты не можешь выбрать то, чего не знаешь. Твоя человеческая душа слишком упряма, слишком привязана к теням прошлого. Она будет цепляться за образ жены и дочери, за тепло очага и запах дыма, и эта привязанность, эта скорбь, будет и дальше питать Змея, будить его от снов, что древнее самих гор.

Он шагнул ближе, и туман Нави расступился перед ним, словно вода перед носом ладьи. В руке его был посох, неотесанный, живой, покрытый мхом, что светился едва заметным серебром. Он не был стар или молод; его лицо было лицом самой земли – с оврагами морщин, с глазами-омутами, в которых отражались и первые ростки, и последние угли догоревшего костра.

– Ты не можешь просто шагнуть на новую тропу. Ты должен пройти по ней. Прочувствовать ее камни своей новой шкурой, ее ветер – своими новыми легкими, ее тишину – своим новым сердцем. Покон требует не жертвы, но понимания. Равновесие – это знание своего места. И ты узнаешь свое.

Я смотрел на него, и во мне, в этом бесплотном сгустке тоски и памяти, кипел немой протест. Знание? Какое знание мне теперь нужно? Я знал, как пахнут волосы Миланы после дождя. Знал, как смеется Алёнка, когда я подбрасывал ее к самым потолочным балкам. Знал тепло собачьего бока у ног и тяжесть топора в руке. Это было мое знание, моя жизнь. Все остальное – лишь прах и тлен. Но я не мог говорить. Мой голос остался в мертвом горле, в той яме, что стала мне могилой. Мысли были всем, что у меня осталось.

Зачем мне это? – пронеслось в моем сознании, отчаянно и горько. – *Отпусти меня. Сотри. Пусть я стану пылью, туманом, эхом в лесу. Чем угодно, лишь бы не быть… этим. Якорем для чудовища.*

Велес будто услышал мой беззвучный крик. Его взгляд смягчился, но лишь на мгновение, как солнце, проглянувшее сквозь грозовые тучи.

– Стереть тебя – значит признать, что Покон может ошибаться. Но он не ошибается. Он есть. Твоя жажда жизни в миг смерти была так сильна, что коснулась корней мироздания. Ты сам потянулся к силе, что спала под землей, и она ответила. Теперь вы связаны. Чтобы разорвать эту связь, нужно не отсечь ее, а распутать узел. А для этого ты должен добровольно отдать то, что делает тебя Остапом. Свою память. Свою любовь. Свою боль.

Он поднял посох и коснулся им туманной земли у моих ног. Три тусклых огонька, три блуждающих светляка вспыхнули в серой мгле. Они медленно кружились, словно мотыльки над свечой.

– Я предлагаю тебе не выбор, а испытание. Три дня и три ночи по счету Яви ты проживешь три разные судьбы. Три нити, что я спряду для тебя из ткани Нави. Ты войдешь в каждую из

них, почувствуешь ее до дна, до последней капли. И лишь тогда, когда твой дух познает все три дороги, ты сможешь выбрать одну и пойти по ней до конца, оставив свое прошлое позади, как змея оставляет старую кожу.

Первый огонек вспыхнул ярче, и в его свете я увидел бегущего по лесу волка. Огромного, седого, с глазами, горящими голодным пламенем. Я видел мир его глазами: мир запахов, следов, первобытного страха и ярости охоты. В этом мире не было места для тоски по жене и дочери. Была лишь луна, стая и вкус горячей крови на клыках.

– Первая нить – нить зверя, – произнес Велес. – Ты станешь Волколаком. Не оборотнем, разрывающимся между двумя мирами, но истинным зверем, в чьей душе лишь тенью, далеким эхом будет жить память о человеке. Ты познаешь свободу от мыслей, свободу от скорби. Твоим законом станет голод, твоей судьбой – короткая, яростная жизнь и быстрая смерть в драке за самку или кусок мяса. Твое человеческое «я» растворится в крови и инстинкте. Ты забудешь их имена.

Забуду их имена… Эта мысль ударила сильнее, чем удар о камни на дне омута. Милана. Алёнка. Забыть их – это была смерть страшнее первой, страшнее второй. Это было окончательное и бесповоротное уничтожение.

Второй огонек разгорелся, отливая холодным, зеленоватым светом. В нем я увидел не движение, но покой. Вековой дуб на опушке леса. Его корни уходили вглубь, в самую дремоту Аждахи, а ветви тянулись к недостижимому пологу Яви. Я почувствовал его жизнь – неспешное движение соков, смену времен года, поколения людей и зверей, что рождались и умирали у его подножия. Он видел все. Он знал все. И он молчал.

– Вторая нить – нить корня, – продолжал бог. – Ты станешь Лешим. Не тем, что водит хороводы с мавками и пугает путников. Ты станешь духом самого леса, его сердцем и памятью. Твоим телом станет древнее дерево, твоими мыслями – шелест листвы. Ты будешь видеть мир Яви, слышать голоса тех, кто придет в твой лес. Быть может, ты даже увидишь свою дочь, когда она, уже взрослая, придет сюда за грибами. Но ты не сможешь ни коснуться ее, ни позвать. Ты будешь вечным, безмолвным наблюдателем, хранителем, лишенным страстей и желаний. Твоя скорбь станет тихой, глубокой, как лесное озеро, и со временем обратится в мудрость. Ты сохранишь память, но потеряешь возможность действовать.

Эта судьба показалась мне изощренной пыткой. Видеть их, но быть не в силах даже шепнуть их имена на ветру? Чувствовать их боль, но не иметь возможности утешить? Это было то же самое, что я испытывал сейчас, только растянутое на вечность. Бесконечное созерцание своего собственного горя.

Третий огонек замерцал болезненным, багровым светом, словно уголек, вынутый из затухающего костра. Он пульсировал, и в его свете проступил силуэт человека, но неправильного, иссохшего. Он стоял у околицы деревни, глядя на свет в окнах, и я чувствовал его жажду. Это была не жажда воды. Это была тоска по жизни, извращенная в голод. Голод по теплу, по крови, по самому дыханию живых.

– Третья нить – нить сухой вены, – голос Велеса стал ниже и глуше, словно доносился из-под земли. – Путь Упыря. Ты останешься близко к миру людей, сохранишь обрывки своих воспоминаний, свою человеческую форму, пусть и искаженную. Но ты никогда не сможешь вернуться к ним. Живые будут бояться и ненавидеть тебя, а мертвые – не примут. Ты будешь вечно скитаться между мирами, ведомый неутолимым голодом – голодом по той жизни, что у тебя отняли. Твоя любовь к семье обернется проклятием, темным магнитом, что будет тянуть тебя к родному дому, но позволит лишь пить жизнь из чужих, чтобы продлить свое жалкое существование. Ты будешь помнить их лица, но каждый взгляд на них будет приносить тебе невыносимые муки и разжигать твой голод.

Волколак. Леший. Упырь. Свобода через забвение. Мудрость через вечное страдание. Память через вечное проклятие. Велес не предлагал мне спасения. Он предлагал выбрать сорт

яда, который убьет во мне человека. Каждая из этих судеб была чудовищной насмешкой над тем, кем я был. Охотник, ставший либо дичью, либо деревом, либо хищником, что охотится на своих.

Нет, – взмолился я. – *Я не хочу! Я не выбираю!*

– Ты уже выбрал, когда шагнул в Заовражье, – отрезал Велес, и в его голосе не осталось ни капли сочувствия, лишь непреклонность Покона. – Ты выбрал, когда твой предсмертный крик разбудил то, что должно спать. Это не наказание, Остап. Это последствие. Единственный способ исправить твою ошибку и спасти мир, который ты так любил. Мир, где все еще живут твоя жена и твоя дочь. Подумай о них. Пока ты остаешься собой, ты – якорь, что тянет корабль Яви на дно, к пасти Змея. Отрекись от себя – и корабль поплывет дальше.

Его последние слова пронзили меня. Спасти их. Он говорил, что моя скорбь и их скорбь – это нити, по которым сила Аждахи просачивается в Явь. Значит, мое существование здесь, в этом виде, причиняет им вред, который они даже не осознают. Моя любовь стала для них угрозой. Моя память – ядом.

Осознание этого было последним, самым тяжелым камнем, рухнувшим на остатки моей души. Я цеплялся за воспоминания, как утопающий за щепку, а оказалось, что эта щепка – грузило, что тянет на дно не только меня, но и тех, ради кого я готов был бы умереть снова и снова.

Это был не выбор. Это был долг. Последний долг мужа и отца.

Медленно, с невыразимой болью, я склонил свою призрачную голову. Это было мое согласие.

Велес кивнул, словно ждал именно этого. В его глазах не было ни радости, ни удовлетворения. Лишь вселенская усталость существа, которое вынуждено снова и снова чинить ткань бытия, разорванную смертными.

– Так тому и быть, – промолвил он. – Три дня, три нити, три жизни. Твой суд начнется сейчас. Первой ты познаешь свободу крови.

Он поднял посох, и первый огонек, волчий, сорвался с места и полетел прямо на меня. Я не мог увернуться, не мог закричать. Я лишь смотрел, как он приближается, разгораясь все ярче, превращаясь из светляка в пылающий шар дикой, необузданной ярости.

Он ударил меня в грудь, и мой призрачный мир взорвался.

Боль была невообразимой. Это была не та боль, когда ломаются кости или рвется плоть. Это была боль самой сути. Мое сознание, сотканное из воспоминаний, начало рваться на части. Образ Миланы, ее улыбка, ее руки – он истлевал, как старый пергамент в огне. Смех Алёнки дробился на тысячи осколков и уносился прочь воющим ветром. Мои мысли, мои страхи, моя любовь – все это скручивалось, ломалось, перемалывалось чем-то чудовищным, первобытным.

Я чувствовал, как моя бесплотная форма обретает вес, как в ней прорастают фантомные кости, наливаются силой несуществующие мышцы. Мое восприятие мира менялось. Серые туманы Нави обрели тысячи запахов: запах прелой земли, страха заблудшей души, холода древнего камня и далекий, манящий, сводящий с ума запах живой крови где-то там, за пологом Яви. Человеческий разум, способный к сомнениям и рефлексии, угасал, тонул в багровом тумане инстинкта. На его место приходило нечто иное – прямое, ясное, неоспоримое.

Охота. Голод. Стая.

Последним, что я осознал как Остап, была мысль, мелькнувшая на самом краю гаснущего сознания. Мысль о том, что я согласился на эту пытку, чтобы спасти их. Но существо, которым я становился, уже не знало, кто такие «они».

Мое призрачное тело изогнулось, вытянулось. Я рухнул на четыре лапы, которых у меня не было, но которые я ощущал отчетливее, чем собственные руки за всю свою жизнь. Из моей груди вырвался не стон, а низкое, гортанное рычание. Я поднял голову, и мир вокруг был уже другим. Дыхание Аждахи стало лишь фоном, далеким гулом земли. Главным был зов луны,

которой здесь не было, но свет которой горел в моей новой крови. Зов голода, который был не нуждой, а смыслом существования.

Велес стоял в стороне, его фигура становилась все более расплывчатой, незначительной. Он был частью старого мира, мира мыслей и слов. Мой новый мир состоял из запахов, звуков и единственной, всепоглощающей цели.

В глубине моего нового сознания, в самой его темной норе, еще трепыхался маленький, испуганный огонек – то, что осталось от Остапа. Он видел, как огромный серый волк, сотканный из тумана и лунного света, скалит клыки, как его глаза загораются голодным огнем. Он с ужасом понимал, что этот волк – это он. И этот волк был голоден.

Зверь сделал первый шаг. Потом второй. Его движения были уверенными, сильными. Он принюхался, повернув морду в ту сторону, где грань между мирами была тоньше всего. Туда, где пахло жизнью. Пахло страхом. Пахло добычей.

Человек внутри кричал. Но волк его уже не слышал. Он сорвался с места и помчался сквозь серую мглу Нави, ведомый древним, как мир, инстинктом. Мой первый день начался.

Глава 8. Сердце Зверя

Первое, что пришло ко мне, был не свет и не звук, а запах. Он не просто коснулся ноздрей – он ворвался в меня, затопил сознание, стал самим моим существом. Мир, который я знал, мир тонких оттенков дыма от очага, прелой листвы и свежего хлеба, умер. На его месте родился новый – оглушительный, яростный, сотканный из миллионов нитей, каждая из которых пела свою песню. Вот горькая смола сосны, раненной молнией прошлой весной. Вот пряная прель грибницы, что пустила свои белые пальцы глубоко под корни старого дуба. Вот кислый, тревожный дух лисьей норы, а рядом – тончайший, сладковатый аромат испуганной мыши, замершей в сухой траве.

Я попытался открыть глаза, но вместо этого моргнул, и мир обрел резкость, какой я никогда не знал. Цвета стали глубже, тени – живее. Каждый лист на дереве, каждая капля росы на паутине виделись мне с нечеловеческой ясностью. Я хотел вскрикнуть, позвать на помощь, но из горла вырвался лишь низкий, утробный рык, от которого задрожала земля под лапами.

Лапами.

Я опустил взгляд. Четыре мощные конечности, покрытые густой, серой с подпалинами шерстью, стояли на влажном мху. Длинные черные когти впивались в почву, даря ощущение незыблемой опоры. Я был не человеком. Я был зверем. Волколак. Воспоминание о словах Велеса пронзило меня ледяной иглой, но тут же утонуло в новой волне ощущений. Мое тело… оно было тюрьмой и оружием одновременно. Под кожей перекатывались тугие узлы мышц, готовые в любой миг взорваться сокрушительной силой. Сердце, огромное и могучее, било в груди ровным, мощным набатом,гоня по жилам горячую, дикую кровь.

Внутри этого нового тела, где-то в самой его глубине, трепетал я – Остап. Испуганный, растерянный призрак самого себя. Я был пленником в собственном, но чужом, преображенном естестве. Я помнил лицо Миланы, ее глаза, полные слез. Я помнил смех Аленки, тонкий, как звон колокольчика. Эти воспоминания были хрупкими стеклянными шарами в лапах урагана. Зверь, которым я стал, не знал этих имен. Его мир состоял из голода, инстинкта и территории.

Голод.

Он проснулся не в животе, а где-то глубже, в самой сути моего нового существа. Это был не человеческий голод, который можно утолить краюхой хлеба. Это была первобытная жажда, требование самой жизни. Голод требовал движения, охоты, крови. Мое человеческое сознание отчаянно сопротивлялось. «Нет, – шептал я сам себе, – я человек, я не убийца». Но зверь не слушал. Он поднял голову, втянул ноздрями воздух, и мир разложился перед ним на карту запахов. Туда, на восток, тянулась сытая, ленивая струйка дыма из деревни. Там был дом. Там была моя семья.

Мысль о них заставила зверя внутри меня заскулить – тонко, жалобно. Но запах жилья был смешан с запахом людей, собак, железа – с запахом опасности. Зверь отвернулся. Его вело другое. На севере, за перелеском, паслось стадо. Запах оленей – теплый, мускусный, полный жизни – был словно песня сирены. Он обещал насыщение, победу, торжество силы.

И я побежал.

Человеком я считал себя быстрым и выносливым, но это было лишь тенью, бледным подобием того, что я испытал сейчас. Могучие лапы пожирали расстояние. Лес не был преградой – он стал продолжением моего тела. Я не обегал стволы, я проносился между ними единым плавным движением. Ветер свистел в ушах, сбивая с шерсти капли росы. Я чувствовал, как земля отдает мне свою силу с каждым толчком, как воздух наполняет легкие пьянящей свободой. И ужас, живший во мне, начал отступать. Его место занимал восторг.

Я забыл о горе, о смерти, о Нави. Я забыл даже свое имя. Был только бег, только ветер, только предвкушение охоты. Я был не просто зверем – я был воплощением самой дикой,

необузданной воли к жизни. Велес обещал свободу, и вот она – абсолютная, бездумная, прекрасная в своей простоте. Не нужно было думать о завтрашнем дне, не нужно было скорбеть о вчерашнем. Есть только сейчас, только этот миг чистого, незамутненного бытия.

Запах стал сильнее. Я замедлился, перешел на бесшумный шаг. Тело двигалось само, подчиняясь древней мудрости, которой я, Остап, никогда не обладал. Я припал к земле, сливаясь с подлеском. Впереди, на залитой утренним солнцем поляне, паслись они. Олени. Пять или шесть самок и среди них – молодой рогач, сильный, гордый, с бархатными пантами. Он стоял, пощипывая траву, но уши его нервно подрагивали, а ноздри трепетали, ловя малейшие изменения в ветре.

Зверь внутри меня замер. Он не дышал. Он ждал. Он выбирал. И он выбрал его. Вожака. Самого сильного. Инстинкт требовал не просто пищи, он требовал испытания, поединка. Мой человеческий разум, уже почти растворившийся в этом первобытном экстазе, слабо пискнул. Я, охотник Остап, никогда бы не стал трогать вожака в это время года. Это было против Покона, против здравого смысла. Это нарушало равновесие.

Но зверь не знал Покона. Его закон был один – голод и сила.

Ветер сменился, донес мой запах до стада. Рогач вскинул голову, его глаза встретились с моими. В них не было страха – лишь удивление и вызов. Он топнул копытом, издал короткий, хриплый рев, предупреждая самок. Они метнулись вглубь леса, а он остался, выставив вперед рога, готовый к бою.

И тогда я рванулся вперед.

Вселенная сузилась до этой поляны, до пространства между мной и им. Я видел каждый мускул, напрягшийся на его шее, каждый волосок на его шкуре. Он бросился мне навстречу. В последний миг я ушел в сторону, почувствовав, как кончики его рогов прочертили воздух в миллиметре от моего бока. Я развернулся и вцепился зубами ему в заднюю ногу. Клыки вошли в плоть, как ножи в масло. Олень взревел от боли и ярости, лягнул меня копытом, но я держался. Горячая кровь хлынула мне в пасть.

Вкус. Он был подобен удару молнии. Металлический, соленый, полный жизненной силы. Он свел с ума. Остатки моего человеческого «я» закричали в безмолвном ужасе, но их крик был потоплен ревущей волной инстинкта. Голод, восторг, ярость – все смешалось в одно чувство, в один порыв. *Убить! Разорвать! Пожрать!*

Олень, хромая, пытался убежать. Но он был обречен. Я настиг его в несколько прыжков, сбил с ног мощным ударом плеча и вцепился в горло. Он захрипел, забился подо мной, его копыта взрывали землю. Я чувствовал, как под моими зубами рвутся жилы, как трещит хрящ гортани, как теплая, пульсирующая жизнь покидает его тело. Я держал, пока его судороги не прекратились, пока его прекрасные глаза не остекленели, отражая равнодушное синее небо.

Он был мертв.

Я отпустил его. Тяжело дыша, я стоял над поверженным врагом. Шерсть на моей морде была пропитана кровью. Я опустился и начал рвать теплую плоть. Зверь насыщался. Он отрывал огромные куски мяса, жадно глотая их, почти не жуя. Он упивался своей победой, своей силой.

А я, Остап, смотрел на это его глазами. И задыхался от омерзения.

Я видел не пищу. Я видел растерзанное тело прекрасного животного. Я видел кровь, пропитавшую цветы на поляне. Я, охотник, всегда благодарил дух леса за добычу, брал лишь столько, сколько нужно, чтобы прокормить семью. Убийство было необходимостью, но оно всегда сопровождалось уважением.

Здесь же не было ничего, кроме слепой, животной ярости и обжорства. Зверь не благодарил. Он брал. Он доминировал. Он уничтожал.

Когда первый, самый острый голод был утолен, зверь отвалился от туши и улегся на траву, тяжело дыша. Его веки смежились. И в этой тишине, в этом покое сытого хищника, мое сознание вернулось ко мне с новой, оглушающей силой.

Я лежал в теле убийцы, в нескольких шагах от изуродованного им трупа. На моем языке все еще был вкус его крови. Я вспомнил Милану, которая не могла видеть, как режут даже курицу. Я вспомнил, как учил Аленку не срывать без нужды цветы, потому что они живые. Я учил ее уважению к жизни, а сам… сам стал этим. Чудовищем, упивающимся смертью.

Велес показал мне свободу. Но он умолчал о ее цене. Цена была – душа. Цена была – все, что делало меня Остапом. Эта сила, эта мощь, эта радость бега и охоты были лишь наживкой в ловушке. Попавшись на нее, ты переставал быть собой. Ты становился просто голодом на четырех лапах. Вечным, неутолимым, слепым. Ты забывал любовь, забывал долг, забывал нежность. Ты забывал лица тех, ради кого когда-то жил и умер.

Я посмотрел на свои лапы, на когти, на которых запеклась кровь. Это не была свобода. Это было худшее рабство из всех возможных – рабство у собственного нутра, у простейших инстинктов, не знающих ни жалости, ни чести.

Солнце начало клониться к закату. Лес наполнился вечерними тенями. Зверь внутри меня спал, сытый и довольный. А я, Остап, бодрствовал в этой темной, теплой тюрьме из плоти и меха. Я смотрел на останки оленя, на которых уже собирались мухи, и понимал. Я понял урок этого дня.

Путь зверя – это путь забвения. Полного, окончательного. Став им, я бы спас свою семью от угрозы, исходящей от моей неупокоенной души, но какой ценой? Я бы стал еще одной слепой силой этого мира, таким же, как ветер, ломающий деревья, или река, подмывающая берег. Я бы просто… был. Без прошлого, без будущего, без любви.

К вечеру, когда последние лучи солнца окрасили небо в кроваво-красный цвет, зверь проснулся. Он потянулся, зевнул, обнажив страшные клыки, и снова посмотрел на север. Голод еще не вернулся, но вернулась неутомимая энергия. Ему хотелось бежать, метить территорию, выть на рождающуюся луну.

Он поднялся на лапы, готовый снова раствориться в ночи. Но прежде чем он успел сделать шаг, я собрал все, что от меня осталось – всю свою боль, всю свою любовь, все свое человеческое упрямство – и заставил его остановиться. Я заставил его снова посмотреть на растерзанную тушу. Я заставил его вдохнуть запах смерти, который теперь казался не аппетитным, а тошнотворным.

Зверь зарычал, недовольно встряхнув головой. Он не понимал. Он не хотел понимать. Он хотел бежать от этого места, от этого образа, который тревожил его сытое спокойствие.

Но я не отпускал. Я держал этот образ перед его мысленным взором, как зеркало. *Смотри. Это ты. Это твоя свобода.*

И впервые за этот долгий, страшный день зверь подчинился. Не инстинкту, а слабой, дрожащей воле человека, запертого внутри него. Он опустил голову, и из его груди вырвался звук, не похожий ни на рычание, ни на вой. Это был долгий, тоскливый, полный невыразимой скорби скулеж.

Так закончился первый день моего испытания. Я познал сердце зверя и в ужасе отшатнулся от него. Впереди были еще две ночи, два пути. И теперь я знал, что это не выбор между разными жизнями. Это был выбор между разными способами умереть окончательно.

Глава 9. Корни и Тишина

Волчий вой замер в глотке, обратившись в пыль и сухой лист, уносимый ветром. Последнее, что я помнил, был тоскливый скулеж, вырвавшийся из пасти зверя, – признание поражения, первый и последний акт моей человеческой воли в той дикой шкуре. А затем… затем не стало ничего. Ни тела, ни голода, ни ярости. Пропал даже тот серый туман Нави, что стал мне привычной темницей. Я просто исчез, растворился, как капля росы под утренним солнцем.

И тут же возник вновь.

Но не было ни света, ни тьмы, ни верха, ни низа. Вместо зрения пришло иное чувство – знание. Я знал, где под землей сочится влага, где пробивается к ней тонкий, упрямый корешок молодого дуба. Я чувствовал, как напрягается кора на старой сосне, веками стоявшей на обрыве, как медленно, мучительно медленно, наливается тяжестью смолы ее рана, оставленная молнией еще при жизни моего деда. Я ощущал себя сразу всем: и этим дубом, и этой сосной, и ползущим по ее стволу муравьем, и лишайником, серым бархатом покрывшим валун у подножия.

У меня не было глаз, но я видел. Видел не светом, а жизнью. Видел движение соков под корой, как кровь в жилах. Видел, как в глубокой норе, под спутанными корнями ели, свернулся в клубок барсук, и его сердце билось ровно и мерно, отсчитывая долгие зимние сны. Видел, как дрожит от страха мышь в сухой траве, заслышав бесшумный полет совы. Я был и совой, и мышью, и страхом, и голодом, и неминуемой гибелью.

У меня не было ушей, но я слышал. Слышал не звуком, а вибрацией, дрожью земли и воздуха. Слышал хруст ветки под копытом лося, что пробирался к водопою. Слышал шелест миллиардов листьев, шепчущих вечную песнь ветру. Слышал гул, исходящий от самой земли, – низкий, глубокий, как дыхание спящего исполина. Это дышал Аждаха, Великий Змей, и теперь его дыхание было и моим. Оно было основой моего нового бытия, тем басовым струнным гулом, на котором разыгрывалась вся симфония лесной жизни.

Я стал лесом. Не лешим, не духом-хранителем, что бродит меж деревьев, а самим лесом. Мое сознание, бывшее когда-то искрой в черепной коробке Остапа-охотника, теперь разлилось по тысячам стволов, ушло вглубь земли мириадами корней, взметнулось к небу кронами. Память о Милане и Аленке, о теплом срубе и запахе печного дыма, стала похожа на каплю янтаря, застывшую в жилах вековой сосны, – драгоценная, прозрачная, но навеки чужая этому новому, исполинскому «я».

День, что для человека тянется от рассвета до заката, для меня стал единым вдохом. Солнце прошло по небу, и я ощутил его тепло каждой травинкой, каждым листом, впитывая его силу, преобразуя ее в рост, в жизнь. Пролился короткий дождь, и я пил его тысячами ртов-корней, чувствуя, как живительная влага наполняет меня от самых глубин до макушек самых высоких деревьев. Это было состояние, которое человеческий язык мог бы назвать лишь одним словом – покой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.